

# Генри Лайон Олди

## Богадельня

Итак, мы в общих чертах проследили разные методы воспроизведения чудесного и сверхъестественного в художественной литературе; однако приверженность немцев к таинственному открыла им еще один литературный метод, который едва ли мог бы появиться в какой-либо другой стране или на другом языке. Этот метод можно было бы определить как *фантастический*, ибо здесь безудержная фантазия пользуется самой дикой и необузданной свободой, и любые сочетания, как бы ни были они смешны или ужасны, испытываются и применяются без зазрения совести. Другие методы воспроизведения сверхъестественного даже эту мистическую сферу подчиняют известным закономерностям, и воображение в самом дерзновенном своем полете руководствуется поисками правдоподобия. Не так обстоит дело с методом *фантастическим*, который не знает никаких ограничений, если не считать того, что у автора может наконец иссякнуть фантазия. <...> Внезапные превращения случаются в необычайнейшей обстановке и воспроизводятся с помощью самых неподходящих средств; читателю только и остается, что взирать на кувырканье

автора, как смотрят на прыжки или нелепые переодевания арлекина, не пытаясь раскрыть в них что-либо более значительное по цели и смыслу, чем минутную забаву.

Английский строгий вкус нелегко примирится с появлением этого необузданно-фантастического направления в нашей собственной литературе; вряд ли он потерпит его и в переводах. <...> Мы искренне полагаем, что в этой области литературы «tout genre est permis hors les genres ennuyeux»,<sup>1</sup> и, несомненно, дурной вкус нельзя критиковать и преследовать столь же ожесточенно, как порочный моральный принцип, ложную научную гипотезу, а тем более религиозную ересь. <...> Но самое большее, с чем мы можем примириться, когда речь идет о фантастике, — это такая ее форма, которая возбуждает в нас мысли приятные и привлекательные. <...> Нет никакой возможности критически анализировать подобные повести. Это не создание поэтического мышления, более того — в них нет даже той мнимой достоверности, которой отличаются галлюцинации сумасшедшего, это просто горячечный бред, которому, хоть он и способен порой взволновать нас своей необычностью или поразить причудливостью, мы

---

<sup>1</sup> «...разрешены все жанры, кроме скучных» (фр.).

не склонны дарить более чем мимолетное внимание.

*Сэр Вальтер Скотт, баронет.*

*«О сверхъестественном в литературе».*

*Журнал «Фореин куотерли ревью», 1827 г.*

## Preludium

### I

— Значит, чем более важно дело стражей, тем более оно несовместимо с другими занятиями — ведь оно требует мастерства и величайшего старания.

— Думаю, что это так.

— Для этого занятия требуется иметь соответствующие природные задатки.

— Конечно.

— Пожалуй, если только мы в состоянии, нашим делом было бы отобрать тех, кто по своим природным свойствам годен для охраны государства.

— Конечно, это наше дело.

Платон. «Государство»

Душегуб задерживался.

Солнце плавилось в тигле оконных витражей.

Злое солнце февраля, жгучая ледышка зимы. Капли стекали в тронную залу, брызжа радугой на настенные шпалеры с оленями и трубадурами. Дерзко пятнали — пурпур! зелень! лазурь!.. — ослепительно белые сорочки рыцарей. Вассалы Дома Хенинга стояли рядами: ноздреватые сугробы, готовые скорее растаять под напором света, чем пошевелиться. У многих, чей род древностью соперничал с герцогским, были до локтей закатаны рукава, и ладони, много поколений не знавшие позорной тяжести оружия, гордо лежали на кожаных поясах.

Орден Колесованной Рыбы ждал.

Еще прадед нынешнего герцога Густава учредил орденский устав, огласив его во дворе замка. И он же, в качестве командора, преломил меч на плече первого из рыцарей Колесованной Рыбы — своего наследника, тогда еще молодого графа Вальриха цу Бальзенан. Осколки двуручного фламберга звонко ударились о плиты, которыми был вымощен двор, дружина выдохнула здравицу, и с тех пор цвет Хенинга готов был рискнуть головой в бою или на турнире, лишь бы обрести право вышить на правом плече знак: рыба, заключенная в колесо.

Левое плечо — для фамильного герба.

Семья — к сердцу, орден — к силе.

Сегодня никто не дерзнул явиться,

закутавшись в плащ, подбитый октябрьским бобром, или блистая пряжками камзола. Галапский атлас? ассагаукский бархат?! парча из Клеркуэлла, искусно шитая канителью?! — ничуть. Полосатые штаны до колен, перечеркнутые по талии тисненой кожей поясов, и белизна сорочек делали рыцарей похожими на странных шершней-альбиносов. Гордецы, сердцееды, *maîtres de courtoisie*,<sup>2</sup> юные сорвиголовы и седые паладины, успевшие вдоволь навоеваться в Святой Земле, — не умеющие ждать, они стояли молча, потому что Душегуб задерживался.

— *Nemo contra Deum nisi Deus ipse!*<sup>3</sup> — донеслось снаружи, от замковой часовни Св. Юста.

На возвышении, в левом из двух кресел, сидела герцогиня Амальда, урожденная баронесса Лафарг. Тронный балдахин сходиллся над ней, блистая позолотой картуша. Бесстрастной статуей, уронив руки на точеные подлокотники, она смотрела вверх непокрытых голов, и солнце зимы тонуло в аспидно-черных омутах глаз. У ног Амальды Хенингской дремала ее любимица, борзая

---

<sup>2</sup> Учителя рыцарского этикета.

<sup>3</sup> Противиться Богу не волен никто, кроме самого Бога!  
(лат. )

по кличке Лэ, и неподвижность собаки казалась вихрем в сравнении с неподвижностью герцогини. Пройдя Обряд около полувека назад (супруга дворянина, в чьей семье однажды родился Ответчик, не знала отказа), она мало изменилась с того дня. Рядом с дочерьми — старшей, ожидавшей внизу со своим супругом, бароном цу Ритерзиттен, и младшей, вдовствующей виконтессой Зигрейн — мать выглядела сверстницей, хотя младшая была тридцатилетней, а старшей в прошлом году сравнялось сорок пять.

Волосы цвета спелой ржи уложены башней. Бледная, слишком бледная кожа туго обтянула скулы. Бритва переносицы. Рослые, сильные, надменно-спокойные дамы: мать и дочери.словно вековые липы в парке, опоясанные каждая прочной каменной изгородью. Мало кто допускался внутрь отдохнуть на скамье под деревом, и еще меньшее количество людей могло похвастаться, что было допущено за незримую стену, отгораживавшую герцогиню Амальду от прочих творений Господа нашего.

Борзая подняла голову.

Распахнулась в зевке острая щучья пасть.

Но Душегуб задерживался, и это стало единственным движением в зале.

— Beati quorum tecta sunt peccata! <sup>4</sup> —  
ударилось в окна, подкрепленное россыпью  
хрусталия с малой звонницы.

Правое кресло, украшенное зубчатым венцом, пустовало. Человек, занимавший его по праву рождения, стоял у крайнего окна, легко опершись на подоконник. Цветные стекла изображали спелые гроздья винограда, перевитые лозами, и сиреневый отблеск ложился на лицо человека, превращая наследственную худобу в изможденность. Сирень впалых щек. Сиреневые борозды морщин. Складки у красиво, может быть, слишком красиво очерченного рта. И ночь глубоко посаженных глаз. Такие лица обычно называют птичьими, но здесь скорее подходило сравнение с муравьем или «травяным монашком». Густав-Хальдред, прозванный Быстрым, XVIII герцог Хенингский, был знаком с ожиданием понаслышке. Всего дважды ему довелось томиться в предвкушении желаемого. Первый раз — почти шестьдесят лет тому назад, во время собственного Обряда. Но тогда Душегуб опоздал на минуту-другую, так что первый раз, пожалуй, не в счет.

И вот — сейчас.

Герцог Густав машинально дернул плечом.

---

<sup>4</sup> Блаженны те, чьи грехи сокрыты! (лат. )

Жеста не уловил никто: так, легкая рябь воздуха, шутка сквозняка. Впрочем, даже вспрыгни Густав Быстрый на подоконник и вернись обратно, вряд ли многие успели бы заметить вольность господина. Наверняка — жена. Баронский род Лафарг стар... да, конечно, жена заметила бы. На миг раньше, чем ее любимица борзая. Скорее всего — гюрвенал наследника, *шатлен* Эгмонт Дегю, как называли не обремененных титулами владельцев собственных замков. Очень вероятно — старший зять и десяток вассалов из самых знатных. И все. Самому герцогу это было прекрасно известно, иначе он никогда не позволил бы себе проявления чувств на людях. Как не позволил бы вслух, в лицо или при посторонних, вульгарно назвать Душегубом уважаемого мастера Филиппа ван Асхе. Укорить за опоздание, разгневаться или мимоходом велеть слугам повесить долгожданного мастера Филиппа на воротах — нет. Для Густава Быстрого существо, носящее имя «Филипп ван Асхе», было сегодня сродни дождю или радуге в небе. Придет в свой срок, сколько ни подгоняй, и нелепо досадовать на опоздание ливня. Еще нелепей велеть слугам повесить радугу на воротах, называя ее разными оскорбительными словами.

Ожидание Душегуба на пороге Обряда — не ожидание. Дождь явится вовремя, когда бы ни пришел. А завтра, после дождя, даже владыкам



следует помнить, что жизнь не заканчивается нынешним днем. Что рассудительность — опора трона.

Густав-Хальдред, XVIII герцог Хенингский, был очень рассудительным человеком.

Это спасало, ибо жизнь становилась все более пресной.

— *Anima mea laudabit te, et indicia tua me adjuvabunt!* <sup>5</sup> — Замковый капеллан сегодня превзошел сам себя. Ангельский напев. Звучный и трепетный. Отцы церкви, ничем не подчеркивая двойственного отношения к Обряду, тем не менее старались избегать прямого присутствия. Рассыпались в извинениях, ссылались на занятость, болезни, назначали службы и молебны именно в это время. Даже «Медная булла» Его Святейшества, папы Иннокентия II, где Обряд объявлялся делом сугубо светским и (косвенно) богоугодным, мало что изменила. Просто одновременные службы стали назначаться с завидным постоянством, и прелаты взывали к небесам истово, с душой, то ли освящая таким образом сомнительное действие, то ли замаливая невольный грех.

Впрочем, после сожжения еретика и хулителя

---

<sup>5</sup> Душа моя восхвалит Тебя, и Твои указания мне помогут!  
(лат. )

Якоба Соломинки, в числе прочих своих ересей проклявшего Обряд на площадях Гента, Лиможа и Хенинга, уже двое митрофорных аббатов ответили согласием на приглашение его высочества Вильгельма Фландрского посетить семейный Обряд.

А папский престол в Авиньоне одобрил костер соответствующим декреталием.

Двери распахнулись, и четверо невольников-нубийцев внесли крытый паланкин. Стараясь двигаться как можно тише, они прошествовали до середины залы, где опустили ношу на пол. Старший нубиец откинул полог, благоговейно склонился и подставил плечо. Спустя минуту дряблая рука, вся в буграх и складках, явилась из недр паланкина. На обнаженном глянцево-темном плече невольника она смотрелась чуждой опухолью.

Сьер Томазо Бенони, придворный астролог и хиромант, начал выбираться наружу.

Был он чудовищно жирен, с кожей мучнисто-белого цвета, наводившей на мысли о проказе. Широкие одежды не могли скрыть уродства астролога, да сьер Томазо и не пытался его спрятать. Ноги плохо служили звездочету, дрожа в коленях от непомерной тяжести, но все-таки астролог целых пять шагов сделал самостоятельно, прежде чем нубийцы подхватили

его под локти. Дальше он скорее висел, нежели шел, хотя Густав Быстрый соизволил обернуться к сьеру Томазо, ободряюще улыбаясь. Герцог давно привык к телосложению и болезненности верного пророка, точно так же, как привык к силе и здоровью собственных домочадцев.

Обряд есть Обряд, и у каждой полновесной монеты имеются две стороны. Ведь звезды небес и линии ладоней, певшие хором для Томазо Бенони, молчали для XVIII герцога Хенингского.

«Достойным — по заслугам».

Этот двусмысленный девиз украшал герб Хенинга.

Признавая за астрологом множество высоких достоинств, герцог двигался сейчас нарочито медленно, дабы сьер Томазо мог уследить за господином и оценить расположение. Это искусство — укрощать порывы тела, неуправляемого в бою — Густав-Хальдред освоил с детства. Впрочем, в данном случае его высочество действовал, скорее подчеркивая благоволение, нежели по необходимости. Скорбный телом звездочет успевал подмечать и делать выводы куда быстрее, чем большинство вполне здоровых людей.

— Ваше высочество! — неожиданно высоким голосом, напоминаящим флейту-пикколо, заговорил астролог. — Покорнейше молю простить задержку, но лишь сейчас мне удалось внести в

Обрядовый гороскоп последние изменения. Осмелюсь сообщить, что звезды предвещают удачу, но в ближайший месяц... атизар Сатурна, иначе неблагоприятное влияние планеты Трех Колец... а также состояние анахибазона, то есть восходящего узла лунной орбиты... я хотел бы!..

Сьер Томазо задохнулся и долгое время пыхтел, не в силах продолжить.

— Ваши преданность и мудрость хорошо известны нам, — Густав Быстрый отвернулся, продолжив смотреть в окно. Словно надеялся высмотреть зловещий «атизар» планеты Трех Колец. — Говорите спокойнее, сьер Томазо, берегите дыхание. Иначе черная желчь смешает течение ваших жизненных соков, и мы опять утратим удовольствие внимать вам. Лучше просто отвечайте на мои вопросы. Коротко и ясно. Вы увидели дурное влияние звезд на нынешний Обряд?

По-прежнему лишенный возможности говорить, астролог отрицательно мотнул головой.

— Значит, все завершится к вящей славе Дома Хенинга?

Утвердительный кивок. Стоя к сьеру Томазо спиной, герцог тем не менее кивнул в свою очередь, будто прекрасно видел жест звездочета.

— Превосходно, друг мой. — Всякий, хорошо знавший Густава Быстрого, понял бы, что в этот миг можно просить о любой милости: отказа не

будет. — Значит, черная тень затемняет не настоящее, но будущее? Дальнее будущее? Ближайшее?

— Не тень, ваше высочество! — Голос вернулся к астрологу, но флейта превратилась в пастушью дудку, визгливую и захлебывающуюся. Нубийцы встали теснее, позволив хозяину опереться на них всем телом и обмякнуть, сберегая силы. — Отнюдь еще не тень, но возможность тени в будущем!

— Возможность? Дом Хенинга не первое столетие живет бок о бок с тенями и возможностями будущего. Сохраняя свое место под солнцем настоящего.

Сегодня герцог был в прекрасном расположении духа.

Сегодня он шутил.

— Ваше высочество, — астролог потянулся вперед, едва не упав, и невольники шагнули ближе к окну, позволяя вести разговор шепотом. Вряд ли кто-то из рыцарей или герцогиня Амальда решились бы подслушивать, но предусмотрительный идет прямо в рай, а опрометчивым гореть в геенне огненной. — Речь идет о праве наследования и продолжении рода! Ваш благородный сын...

Губы Густава Быстрого дрогнули:

— Мой сын? Ты ведь сказал, что Обряд ждет

удача!

— Да!

— Так что же?!

— Расположение звезд крайне двусмысленно, ваше высочество! Помимо Обрядового гороскопа, вчера я изучал ладонь вашего сына, и «Тропа Наследства» была отчетливо прерывиста, огибая Бугор Венеры, в то время как линия жизни...

— Мой сын умрет бездетным?! — беззвучно выдохнул герцог, но астролог понял вопрос.

Отстранив нубийцев, он выпрямился. Дыхание, смиряемое мощью духа, выровнялось, багровость покинула лицо, и в осанке смешного толстяка появилась несвойственная ему обычно величавость. Герцога это не удивило: он знал за сьером Томазо внутреннюю силу, способную подчинять и направлять, силу, в какой-то степени сходную с его собственной. Не стоило завидовать судьбе тех, кто опрометчиво посмеялся бы над Томазо Бенони, звездочетом и хиромантом в шестом поколении. Знающие люди шептались: сьер Томазо многожды превзошел славу не только мавра Заэля Бренбрира и авраамита Мессагалы, но также своих именитых земляков — Гвидо Боната и Антуано Маджини, мастера составления гороскопов.

Иногда Густав-Хальдред, XVIII герцог Хенингский, полагал, что его астролог способен не

только читать письма звезд или книгу ладони человеческой, но и вступать с судьбой в более близкие отношения.

— Нет, ваше высочество! Звезды ясно говорят: род будет продолжен, причем продолжен именно вашим благородным сыном, но...

— Это все, что я хотел услышать. — Сиреневый отблеск на лице Густава Быстрого стал черным: солнце снаружи зашло за снеговую тучу. — Благодарю тебя, друг мой! Остальное ты расскажешь мне завтра... нет, через три дня. Когда Обрядовые празднества подойдут к концу.

— ...ad maiorem Dei gloriam!..<sup>6</sup> — эхом вздрогнули стекла, а грозди винограда качнулись от перезвона колоколов.

На этих словах в тронную залу вошел Душегуб.

## II

Мейстер Филипп ван Асхе вторую неделю жил в замке, оставив свой городской дом на попечение экономки. Неотступно следуя за молодым наследником (в самом скором времени, согласно решению отца — графом цу Рейвиш),

---

<sup>6</sup> К вящей славе Божьей! (лат. )

мейстер Филипп делал это с завидным обаянием. Когда, обнажившись по пояс, юноша состязался в воинской науке с дружинниками и собственным гюрвеналом, мейстер Филипп восторженно рукоплескал каждой его победе. На охоте, видя, как будущий граф прямо с седла ловит за уши зайца-беяка и голыми руками валит в снег матерого секача, мейстер Филипп радовался столь заразительно, что все лица озарялись ответными улыбками. На пирах и балах, в умывальне, личных покоях наследника и коридорах замка, его сухопарая фигурка везде сопровождала герцогского сына, двигаясь слегка вприпрыжку, будто грач в поисках зернышка. К нему привыкли сразу. Соглашались, что гость — чрезвычайно приятный собеседник, особенно когда болтает о всяких милых пустяках. О каких именно? Да что вы! нет, а все-таки?.. ну, о погоде... и вообще...

Смысл речей гостя стирался в памяти собеседников быстрее, чем высыхает летом утренняя роса. Пожалуй, исчезни мейстер Филипп без предупреждения, о нем забыли бы еще легче, чем привыкли.

Сейчас же собравшимся в тронной зале показалось, что воздух внезапно согрелся. Легкий аромат прели (*...осень в лесу, косые лучи солнца, клены над оврагом...*) защекотал ноздри. Вплелась струйка живого огня и каленого металла. Не



удержавшись, чихнула борзая Лэ. Лицо герцогини Амальды смягчилось, румянец тронул бледные щеки. Густав Быстрый прервал беседу с астрологом, задумчиво коснувшись пальцами лба, словно пытался и не мог о чем-то вспомнить. Потом исчез у окна и возник в своем кресле. Нубийцы подхватили обессилевшего звездочета, слабый шорох качнул ряды рыцарей, а мейстер Филипп все шел и шел, виновато моргая.

Обогнул паланкин.

Остановился.

Зачем-то поднял взгляд, внимательно рассматривая дубовые балки потолка. Вслушался. Звуки гэльской баллады «Тоска пилигрима» (*«...путь пилигрима к вершинам, вдаль, где струйкой дыма течет печаль...»*) паутинками всплыли из углов. Дрогнули, рассыпались трепетным звоном и исчезли, оставив по себе лишь память и тишину. У самой двери шевельнулся, чтобы вновь застыть, еще один сугроб: низкий, черный. Жерар-Хаген, вскоре граф цу Рейвиш, а в далеком будущем XIX герцог Хенингский, ждал Обряда, преклонив колени, укрытый плащом из глухого черного бархата. Согласно традиции сие означало ночь, откуда юноше суждено обновленному выйти к свету. «Не пред человеками склонюсь, но пред самим собой, дабы расстаться на перекрестке и направить стопы свои к величию и

силе...» Большинство дворян не особо вникало в смысл «Зеркала Обряда», написанного, по слухам, чуть ли не Артуром Пендрагоном, но заученных отрывков вполне хватало, дабы оправдать некоторое умаление достоинства.

Ожидание, преклонение колен — «не пред человеками склонюсь, но пред самим собой...».

Солнце замерзло в витражах.

Наконец мейстер Филипп достиг тронного возвышения. Действия Душегуба испокон веку принимались участниками Обряда бесстрастно и с пониманием, что бы ни происходило. Даже королевские семьи соблюдали обычай, меньше всего желая рискнуть благополучием потомства в угоду гордыне. Вот и сейчас мейстер Филипп в рассеянности забыл поклониться герцогине, свернув левой, но никто и не подумал возмутиться. Сбоку, у ступеней, ждала ширма, расписанная сценами соколиной охоты. Раздвинув ширму, Филипп ван Асхе открыл взорам низкую кафедру и налойный столец с водруженным поверх тиглем. У тигля беззвучно хлопотал карлик, одетый в длиннополый кафтан, — синдик<sup>7</sup> цеха ювелиров, почтенный Роже Гоохстратен, ужасно волновался.

---

<sup>7</sup> Почетный представитель ремесленного цеха, имеющий право представлять цех в суде или иных инстанциях.

Хотя он плавил золото с молодых ногтей, но одно дело заниматься этим в собственной мастерской и совсем другое — в тронной зале его высочества, на глазах ее высочества и сотни благородных рыцарей.

Впрочем, награда за труды — грамота с новыми привилегиями цеху ювелиров и лично синдику Роже Гоохстратену — творила чудеса, превращая труса в храбрца.

Встав за кафедру, мейстер Филипп поставил сверху ларец, который раньше нес в руках. Откинул крышку. Черный сугроб у дверей (*...шелест ливня, чавканье грязи под тележным колесом...*) шевельнулся снова, но это не привлекло ничьего внимания. Все смотрели на руки Душегуба. Сухие руки с подвижными пальцами лютниста. Вот они погрузились в ларец: огладили, тронули... Вынули.

Взглядам явилась глиняная форма, изображающая человека.

Сотворенный Душегубом из глины, малый Жерар-Хаген, сын и наследник Густава Быстрого.

Высоко подняв голема над головой, мейстер Филипп почти сразу опустил его и поднес к тиглю. Карлик зацепил крюком ушко на спинке тигля, ловко наклонил — и струйка расплавленного золота скользнула в отверстие на темени голема.

Мейстер Филипп продолжал держать творение в руках.

Пока форма не наполнилась.

Рискуя потерять лицо, почтенный ювелир охнул от изумления, но его промах остался незамеченным. Потому что Душегуб, широко размахнувшись, швырнул фигурку через всю залу — и настоящий Жерар-Хаген встал навстречу, сбрасывая плащ на пол. Поймав самого себя (*...хруст льдинки под каблуком, порыв зимней вьюги...*), он ударил глиняным големом о косяк двери, и черепки брызнули прочь, превращаясь на лету в грязно-бурые капли.

В руках Жерара-Хагена осталась золотая статуэтка.

Ответно взмахнув, юноша отправил ее в обратный полет, и мейстер Филипп, обычно неуклюжий, поймал статуэтку с ловкостью площадного жонглера.

Золотой идол упал в ларец.

Хлопнула крышка.

По-прежнему молча, мейстер Филипп сунул ларец под мышку и побрел к дверям. Теперь Душегуб двигался тяжело, через силу, словно тело разом одряхлело, и лишь необходимость заставляла ноги мерить тронную залу. Казалось, он вот-вот упадет, выронив ношу, но никто не предпринял попытки вмешаться, помочь — как прежде не оскорблялись нарушением этикета. Действо творилось в молчании (*...ветер шумит в кронах дубов...*) и показном равнодушии. Когда мейстер

Филипп поравнялся с паланкином астролога, за ним следом от окна двинулся герцог Густав, соразмеря шаг с походкой измученного Душегуба.

У входа, где Густав Быстрый догнал Филиппа ван Асхе, юный Жерар-Хаген присоединился к ним.

Они шли в фамильный склеп Дома Хенинга.

### III

По дороге им не встретилось ни единой живой души. Заранее предупрежденные, слуги забились в щели: замок вымер. Камень коридоров, едва согретый коврами, ступени лестниц. Статуи предков в углах. Пустота глядит вслед из мраморных, остывших глазниц. Двери: дубовые, с кольцами в виде змей, или наборные, с тусклыми панно, чей лак давно пора подновить. Мрак копился под сводами потолков. Солнце слепо тыкалось в окна, как кутенок в брюхо мамыши. Лужами света блестяло на паркете, не рискуя сунуться наверх, где пауки расшивали темноту кружевами. Наконец окна и солнце остались позади. Шли молча. На устах мастера Филиппа играла улыбка: растерянная и слегка виноватая. Скоро кончится февраль.

Скоро весна.

Последняя лестница свернулась в кольцо. Вот и усыпальница.

Медленно, очень медленно двигаясь между ниш с саркофагами предков, Густав Быстрый вспоминал свой собственный Обряд. Как давно это было. Как ярко. Как празднично. Жизнь казалась желанным подарком, который тебе уже протянули, но ты еще не взял. Сейчас возьмешь. Сейчас... Взял. Привык. Дар стал обыденностью, рутинной, пылью в углах и завистливыми шепотками за спиной. Славой на турнирах. Победами в редких, неизменно удачных войнах. Верностью вассалов. Необходимостью соразмерять каждый жест с ущербностью окружающих. Возможностью не соразмерять. Завистью к Фернандо III, королю Кастилии и Леона. Род Кастильца древнее, и однажды при встрече Густав Быстрый понял, что иногда испытывают его собственные вассалы, глядя на герцога Хенингского. Впрочем, зависть успела со временем потускнеть, как дверные панно. Никаким лаком не подновить. Господи, почему тоска и безразличие? откуда взялись? уйдут ли?!

Сердце билось ровно, не давая ответа.

Жерар-Хаген шел, еле сдерживая восторг. Жизнь казалась желанным подарком, который тебе уже протянули, но ты еще не взял. Сейчас возьмешь. Сейчас... Графский титул, и там, в тумане будущего (продли, Господь, отцовы годы!..), — герцогская корона. Ликование по поводу Обряда. Здравницы в честь молодого

наследника. Рыцарство в ордене Колесованной Рыбы. Помолвка с дочерью маркиза де Мондехара. Невесту юноша ни разу не видел, но это неважно. Невеста, безусловно, прекрасна. Как прекрасен будет турнир в Мондехаре, где наконец удастся блеснуть во всей красе. Он превзойдет отца. Он, Жерар-Хаген Хенингский, Жерар Молниеносный, покорит непокорных и смирит гордых. Осталось чуть-чуть.

Вот и заветная ниша.

О чем (*...сладость ладана, тихий хор мальчиков...*) думал Душегуб, осталось тайной.

Улыбка, похожая на маску, и все.

Трое остановились возле ниши, где ждал пустой саркофаг с надписью: «Жерар-Хаген из Дома Хенинга». Гордая скромность слов. Жерар-Хаген. Из Дома. Хенинга. Для понимающих — более чем достаточно. Для Всевышнего — тем паче.

И малый неф над входом в нишу.

Мейстер Филипп передал юноше ларец со статуэткой. Вдруг, будто впервые (*...топот копыт: табун несется над рекой...*), заметив наследника, низко-низко поклонился. Сдернул берет, отступил к стене. Замер в ожидании: весь смирение, весь благоговейный трепет. Жерар-Хаген посмотрел на отца. Дождался одобрительного кивка, привстал на цыпочки...

Ларец занял в нефе положенное место.

...когда они шли обратно — герцог Густав первый, следом его сын и, завершая процессию, мейстер Филипп, больше не улыбаясь, — тихий хор мальчиков слышали все трое. Высокие, нежные голоса. Низкий гул органа. Благовест звонницы в отдалении: «In te, Domine, speravi».<sup>8</sup> Ответное эхо в нишах, где стояли саркофаги предков. Эхо в малых нефках, где хранились ларцы, ларцы, ларцы...

Прахом был, златом стану, воссияю народам... «Зерцало Обряда», песнь третья.

Золотые статуэтки Дома Хенинга дремали под крышками.

## IV

— А кого же ты считаешь подлинными философами?

— Тех, кто любит усматривать истину.

— Это верно; но как ты это понимаешь?

Платон. «Государство»

— К вам посетитель, мейстер!

Филипп ван Асхе поднял голову от книги. Рябой слуга, сутулясь, маялся в дверях. Он всегда

---

<sup>8</sup> На Тебя, Господи, уповал (*лат.* ). (Молитва, чаще исполнявшаяся под колокола).



робел, заходя в библиотеку хозяина, этот великан по прозвищу Птица Рох. Боялся стеллажей, бумаги, пергамента, чернильницы с пером, панически робел темных значков, коварно скрывающих в себе тайны смысла... Больше Птица Рох не боялся ничего. Восемнадцать лет назад кухарка обнаружила на пороге дома корзину с подкидышем. Мальчик посинел и уже не плакал: лишь вздрагивал от смертной икоты. Мейстер Филипп велел напоить ребенка теплым молоком, потом увеличил жалованье кухарке без объяснения причин. Женщина оказалась понятливой. В церкви Св. Сульпиция малышу дали имя Жан-Клод, но, когда он в десять лет задушил бешеную собаку и, гордый, приволок труп домой — хвастаться! — мейстер Филипп назвал его Птицей Рох. Никто из прислуги не знал, что это значит, но прозвище прижилось.

А имя забылось.

— Прогнать? — заботливо спросил Птица Рох, приняв молчание обожаемого хозяина за раздражение.

— Ты спросил: кто?

Мейстер Филипп никого не ждал. После Обряда (*...вороны кричат над холмом...*) в Хенингском замке, как после любого другого Обряда, Душегубов обычно старались не беспокоить месяц-другой. Традиция. Предрассудок. Впрочем, если кто и обладает бессмертием в нашем

бренном мире, так это Господин Предрассудок и его родная сестра, Госпожа Привычка.

— Ага. Хозяин, он сказал: Утис. Разве есть такое имя: Утис?

— Есть. По-древнеэллински: Никто.

— Тогда прогнать? — единожды что-то решив для себя, Птица Рох упорно следовал избранному пути. — Он меня киклопом обозвал... Иди, говорит, киклоп, передай. Можно я ему за киклопа в морду?

— Что «передай»? Он тебе дал что-то?!

— Ага... вот эту гадость...

В лапище Птицы Рох обнаружился рукописный свиток. Довольно объемистый, аккуратно перевязанный лентой. Слуга держал его брезгливо, двумя пальцами, и в то же время с явной опаской, будто свиток готов был оборотиться гадюкой.

— Дай сюда.

Взяв свиток, мейстер Филипп развязал ленту. Долго вглядывался в заглавие. Глаза совсем плохие стали. Или просто память брызнула слезами, застит взор? Боже, как давно... сколько лет прошло...

Иоанн Капуанский, «Directorium vitae humanae».

«Наставленье жизни человеческой».

Латынь. Знакомый почерк переписчика.

— Впусти его... — Мейстер Филипп (...дым

*костра ест глаза...* ) помолчал. И вдруг улыбнулся по-настоящему, что с ним случалось крайне редко. Все остальные улыбки не в счет. — Впусти его, киклоп.

Дождался, пока тяжкие шаги Птицы Рох оплывут вниз, воском со свечей. А дверь прикрыть забыл, растяпа... Потом еще обождал. Шаги: на два голоса. Знакомые, гулкие — и легкая поступь. Почти не слышно из-за Птицы. Память идет. Из прошлого — сюда. Боже, как давно...

— Заходи, Мануэль, — сказал Душегуб. — Рад тебя видеть снова.

Человек, вошедший в библиотеку, был одет поверх светского платья в монашеский плащ с капюшоном. Но сразу становилось ясно: он не монах. Сбросить капюшон человек забыл и шагнуть дальше порога тоже забыл. Стоял, смотрел на Филиппа ван Асхе.

Темно-карие глаза.

Цепкий, пристальный взгляд, похожий на ланцет хирурга.

— Что, изменился?

— Да, — кивнул человек, которого назвали Мануэлем. — Стал таким же, как все ваши. Единственная на свете гильдия, которой не нужно иных названий. Просто: Гильдия. И любому понятно. Знаешь, я иногда думаю: чем вы похожи? Разные, но все равно: сразу видно...

— Сразу видно: Душегуб, — спокойно закончил мейстер Филипп. — Раньше, милейший фармацевт Мануэль, ты не церемонился в выражениях. Говорил без запинки. Помнится, университет в Саламанке частенько трясся от твоего острого язычка. Стареешь, дорогой Мануэль. Или прикажешь величать тебя: дон Мануэль? Идальго де ла Ита?

— Не прикажу, — Мануэль по-прежнему стоял у порога. — Я больше не идальго. Я — скромный белец<sup>9</sup> обители цистерцианцев, что в окрестностях Хенинга. В скором времени приму постриг.

— Ты решился покинуть мир? Принять устав Цистерциума?!

Филипп ван Асхе встал. Мануэля де ла Ита он не видел со дня окончания Саламанкского университета, где мейстер Филипп учился на теологическом факультете, а сам Мануэль — на медицинском. В будущем придворный фармацевт Фернандо Кастильского, жизнелюб и острослов Мануэль был первым в учебе и первым на проказы. Знаток трудов Авиценны и Аверроэса, гуляка и бражник, составитель уникальных снадобий, слегка

---

<sup>9</sup> Лицо, готовящееся к пострижению в монахи и живущее в монастыре.

алхимик, почти колдун, завсегда́тай местных лупанариев,<sup>10</sup> где веселые девицы были от него без ума, — о да, Саламанка надолго запомнила Гранда Мануэли́то!

— Тебя там тоже запомнили, — кивнул Мануэль, и мейстер Филипп понял, что последние слова произнес вслух. — Бунтарь и реформатор, ты едва не обрел костер вместо степени магистра. Чего стоил один твой тезис на защите квадривиума: «Если бы Всевышнего не существовало, его стоило бы создать!» Помнится, «псы Господни»<sup>11</sup> слюной изошли... А ты предложил им отправить твой диссертат в Авиньон: пусть Его Святейшество решает. Я к тому времени вернулся в Кастилию. Пытался позже справиться о тебе: впустую. Одни говорили, что тебя бросили в застенки, другие — что ты бежал...

— Людям свойственно ошибаться, — уклончиво ответил мейстер Филипп.

Имел ли он в виду себя молодого,

---

<sup>10</sup> Дома терпимости.

<sup>11</sup> Имеются в виду монахи-доминиканцы, в чьем ведении была инквизиция. Сами монахи слово «Dominicanus» предпочитали читать, как «Domini canus», то есть «Псы Господни».

подверженного еретическим заблуждениям, говорил ли о сплетниках, обсуждавших его судьбу, или вовсе речь шла о застенках и побеге — осталось неясным.

Мануэль наконец прошел к столу. Взял свиток, послуживший пропуском.

— Извини, дорогой друг, это я заберу. Из всего имущества я взял лишь пять книг: больше не унести в дорожном мешке. Бежал ты или нет, но я бежал точно. Фернандо Кастилец не отпустил бы так просто своего придворного фармацевта...

Он подумал, вертя в руках свиток. Капюшон упал на лоб, почти скрыв лицо.

— ...и личного отравителя, — глухо закончил он.

Мейстер Филипп сочувственно вздохнул. Из чего следовало: сказанное не было для него тайной. Мужчины рода де ла Ита — дворянство прадед Мануэля получил от Санчеса Кровавого — испокон века занимали при кастильском дворе двусмысленное положение. Врачеватели. Немного советники. Доверенные лица.

И всегда: личные отравители.

По слухам, тот же Санчес Кровавый хотел пожаловать прадеду Мануэля и белый плащ с алым кругом на правой стороне — знак рыцарства в ордене Калатравы. Но двор возмутился скандальным решением владыки. Командор

Калатравы грозил воспротивиться. Даже командор ордена Сант-Яго, напомнив государю, что обеты его ордена одинаковы с обетами Калатравы, просил найти иное поощрение для любимца. Санчес плевать хотел на возмущение двора и мнение гордецов-командоров, да умер, не успев поступить всем назло. Его сын, Родриго III, уродясь характером в отца, собрался было довершить задуманное родителем, но тут от удара скончался прадед Мануэля, и скользкий вопрос решился сам собой.

— Знаешь, я никогда не был особенно богобоязнен или щепетилен в средствах, — Мануэль опустил свиток в мешок. Тщательно завязал тесемки. — Всегда знал свое место. Люди представлялись мне совокупностью внутренних органов и малой толики разума. Ах да, душа... Мне приходилось вскрывать мертвых и лечить живых. Души я не встретил. И дерзко полагал, что не обнаруженное мной не существует вовсе. А раз так... впрочем, речь о другом. Однажды Кастилец вызвал меня в Вальядолид...

## V

Он говорил тихо, едва шевеля губами. Мейстер Филипп плохо понимал, зачем Мануэль рассказывает это ему. Еще хуже (...гром за

*холмами: жалуется...* ) он понимал, как университетский приятель после стольких лет разлуки нашел его в Хенинге, — но слушал молча, не перебивая. Даже сесть не предложил: сразу видно — откажется. Такие люди исповедуются стоя, и отнюдь не скучающему аббату. Если господин фармацевт добрался до Хенинга, решился на постриг, да еще в строгом братстве цистерцианцев...

Значит, молчи и слушай.

История складывалась обычная, вполне достойная стать основой популярной баллады. Отравитель Мануэль изготовил тайный состав. Дрова, обработанные зельем, сгорали в камине или очаге без лишнего запаха, а человек, находящийся в комнате, честно умирал через два-три часа. Фернандо Кастилец был в восторге. Тем более что у короля имелось великолепное применение таким дровам: некий вздорный епископ давно позволял себе больше, чем следует.

Дрова сгорели, а епископ остался жив.

О чем Фернандо Кастилец не преминул сообщить с глазу на глаз «милейшему фармацевту». Мануэль сказал: исключено. Следует проверить слуг, кому было дано щекотливое поручение. Еще раз испытать тайный состав. Здесь какая-то ошибка. Король согласился. Да, кивнул король. Слуги уже проверены. И состав испытан



заново. В доме «милейшего фармацевта», в гостиной. Пока сам Мануэль вкушал благо королевской аудиенции.

Когда августейшие испытания состава завершились, Фернандо Кастилец остался доволен. Даже разрешил похоронить за счет казны жену и дочь Мануэля. Слуг же, допустивших промашку, предложил взять для дальнейших опытов.

— Я хотел его убить, — слова доносились из недр капюшона, будто со дна моря: дрожь толщи воды. — Я бы мог это сделать. Кастилец в гордыне своей даже не помышлял, что кто-то способен посягнуть на короля. Тем более я. Жена, дочь — для Фернандо это не значило ровным счетом ничего. Он и в других предполагал подобное безразличие. Сказал, что подыщет мне новую супругу: молодую, знатную. Напомнил притчу о Йове. Сам не знаю, почему я не решился. После похорон... Ты понимаешь, Филипп: быть способным отомстить — и отказаться. Простить. Умыть руки. Странное ощущение. Впервые в жизни я устранился от действия, предоставив это право Господу. Сказавший однажды «Я воздам!» должен уметь отвечать за свои слова. Мне, готовящемуся к постригу, грешно кощунствовать, но полагаю, теперь у меня есть некоторое право...

Мануэль вдруг скинул капюшон.

И мейстер Филипп понял: баллады не

получится.

Бывший фармацевт был не седым — выцветшим. Прежде иссиня-черные, волосы его теперь напоминали плесень: белесые, едва ли не прозрачные, они падали ниже плеч. Такими стеблями прорастает репа, забытая в сыром подвале. Казалось, эти волосы вытянули все соки из своего владельца. Само же лицо Мануэля, в прошлом сразу выдававшее примесь мавританской крови, изменилось мало. Сизые, сколько ни брей, щеки. Подбородок с ямочкой. Орлиный нос. Но рот, некогда чувственный, сомкнулся шрамом, и львиная складка навеки запала меж бровями.

А еще: глаза.

Теперь (*...наст хрустит под сапогом...*) мастер Филипп ясно видел: на ланцете хирурга — кровь души.

— Ты приобрел индульгенцию, — сказал Душегуб. — Ты решился...

Мануэль отвернулся, бессмысленно теребя мешок.

— Да. Я приобрел индульгенцию. Только ты не знаешь... Я заказал для себя отпущение грехов всей семьи. Вплоть до прадеда. Монах-квестарь решил, что я сумасшедший.

— Я бы тоже так решил, — пробормотал Филипп ван Асхе.

Приобрести индульгенцию рисковали

немногие. Те, кто не доверял обычной исповеди. Сомневался в праве (возможности?) священника отпускать грехи. Хотел, чтоб наверняка. Обычай был прост: заплатив бродячему монаху-квестарю положенную сумму, человек шел домой, вечером клал индульгенцию под подушку и ложился спать.

Ночью спящий попадал в чистилище.

Котлы, смола. Вилы. Плети.

Нестерпимая мука.

— И ты выдержал?!

— Да. До самого конца. До рассвета.

Мейстер Филипп хорошо представлял, что это значит. Впрочем, слово «представлял» наивно в устах постороннего свидетеля. Время покаяния не соотносилось с реальным временем. Снаружи проходила одна ночь; для кающегося грешника — год, десять или тысяча лет, в зависимости от прегрешений. Впрочем, те, кто прошел через чистилище, утверждали: время там теряет смысл. Год? десять? тысяча лет? — нет. Минута? — чушь. Просто: стисни зубы и держись.

Чтобы прекратить страдания, достаточно было лишь пожелать этого. Ты просыпался у себя дома. В холодном поту. Целый и невредимый. Ночь за окном еще длилась. Можно вернуться: дострадать. Если человек выдерживал до конца, утром он находил под подушкой горсть пепла. Если же нет...

Ну что ж, все отмученное оставалось за ним.

Но взять на себя грехи семьи!..

— Я... — Душегуб осекся.

Говорить? Соболезновать? Любые слова заранее казались мертвой ложью.

Мануэль через силу подмигнул: вышло плохо. Странная гримаса.

— Ладно тебе. Я не за этим пришел. Просто видел тебя вчера на рынке. Ты новую чернильницу покупал. А меня аббат послал за яблоками для братии. У них почему-то все яблоки любят... Я целый день думал: зайти или нет? Вот зашел...

Он собрался с силами.

— Сам не знаю зачем.

— Я что-нибудь могу для тебя сделать? — спросил мейстер Филипп. — Ты пойми, у меня много возможностей.

— Нет. Для меня ты не в силах сделать больше, чем уже сделал. Спасибо тебе.

— За что?

— Ты слушал, не перебивая. Раздумал сочувствовать. Прощай.

В дверях Мануэля догнал вопрос Филиппа ван Асхе:

— Тогда ты ответь мне, бывший идальго де ла Ита. Почему ты прислал ко мне со слугой этот свиток? «Directorium vitae humanae»?

— В Саламанке ты часто читал Иоанна

Капуанского, — пожал плечами гость. — Я полагал...

— Ты взял с собой в дорогу именно этот текст?

— Я не только этот взял. Сказал ведь: пять книг.

— Какие?

— «Венценосец и следопыт» Симеона Сифа. Абдаллах ибн ал-Мукаффа, «Калила и Димна». Ты же помнишь: я способен к языкам. Эллинский, арабский... староавраамитский...

— Продолжай.

— Труды рабби Йоэля. Буд-Сириец, пресвитер монастыря в Мардии, — одну его рукопись. И «Наставление жизни человеческой» Капуанца. А почему ты спрашиваешь?

...Когда дверь захлопнулась, мейстер Филипп долго сидел за столом, думая о чем-то своем.

Потом встал (...*клен роняет семена: вниз...*) и кликнул Птицу Рох.

## VI

Появление Мануэля, неожиданная исповедь, странный разговор о странных вещах — обычно спокойный, мейстер Филипп отметил, что это его взволновало. Привело в шаткое состояние, когда

неспособность забыть и перевести внимание на что-либо другое оборачивается головной болью. Он давно умел расслаиваться надвое: какие бы штормы ни трепали углый челнок сердца, могучий галеон рассудка спокойно шел рядом, готовый в любую минуту бросить спасительные канаты. Пожалуй, стоило признаться: идалго де ла Ита, ныне скромный белец в обители цистерцианцев, напомнил о временах (*...полутона восхода: свет и тень играют в жмурки...*), когда еще никто, в глаза или за глаза, не звал Филиппа ван Асхе Душегубом. Да и сам без пяти минут магистр теологии, учась в Саламанке, при встрече с членом Гильдии вполне мог позволить себе заявление и похлеще Мануэлева:

«...стал таким же, как все ваши. Единственная на свете гильдия, которой не нужно иных названий. Просто: Гильдия. И любому понятно. Знаешь, я иногда думаю: чем вы похожи? Разные, но все равно: сразу видно...»

Бывший отравитель не понимает, что он сказал в действительности. И саламанкский студиязус Филипп не понял бы. Зато это ясно Филиппу, прозванному Ниспровергателем, прямо с защиты квадривиума угодившему в застенки инквизиции. Вкусившему сполна. Мало кто выходит оттуда иначе чем на костер, но будущий представитель Гильдии в Хенинге вышел. «Псы

Господни» только клыками щелкали...

Хватит об этом.

Спустившись в сопровождении верного Птицы на II Благодарственную, Филипп ван Асхе заглянул к перчаточнику Свейдену. Забрал заказ: две пары перчаток из козьей кожи. Посудачил о ценах. О падении нравов. О двухголовой свинье, якобы проповедовавшей на Шельдской ярмарке близкий конец света. Свейден в очередной раз посетовал, что досточтимый мейстер сам бьет ноги, когда мог бы прислать за перчатками одного слугу. Или, на худой конец, явиться в паланкине. Таким образом перчаточник косвенно намекал на скупость собеседника: все знают, что представитель Гильдии не стеснен в средствах. Более чем не стеснен. И перчатки, скарעד, тоже мог бы заказывать подороже.

Мейстер Филипп, как обычно, сослался (...*запах жареной рыбы щекочет ноздри...*) на любовь к пешим прогулкам. Особенно полезным в канун светопреставления, объявленного мудрой свиньей. Добавил, что лично он предпочел бы, дабы свиньи рождались восьминогими, а не двухголовыми. Несмотря на всю прелесть щековины с чесноком. Перчаточник Свейден радушно предложил дорогому гостю остаться на ужин, но получил вежливый отказ.

Мейстера Филиппа ждали в ратуше: он

намеревался сделать очередной взнос на приют Всех Мучеников.

Уже смеркалось, когда Птица Рох, закинув на плечо граненую булаву, шел за хозяином через квартал Битых Бокалов. Хенингцы давным-давно забыли, из-за какой знаменитой попойки квартал обрел свое имя. Но разбито было наверняка немало. Сам Филипп ван Асхе двигался налегке, не обремененный тяжестью оружия. Хотя в сословной грамотке, выданной магистратом, у него и был прописан меч-«бастард», с которым мейстера обязали показываться вне дома, но милостью Густава Быстрого там же, в грамотке, было сделано изображение меча, заверенное личной печатью герцога, — высший привилей для недворянина, позволяющий обойтись грамоткой вместо ношения позорного клинка.

Многие члены Гильдии предпочитали не пользоваться привилеем, но мейстер Филипп полагал: в его возрасте полезней избегать лишних трудов, нежели косых взглядов.

Чужое косоглазие — щепка под каблуком.

И все-таки Мануэль. Плохо верится, что фармацевт предпочел мести прощение. Еще хуже верится в индульгенцию на отпущение грехов всей семье. Но внешний вид фармацевта говорит: правда. Значит, выдержал. Выжег. Впору позавидовать: с таким самообладанием... Обитель



цистерцианцев будет счастлива. Вполне возможно, на улицах скоро появится новый проповедник. Хотя нет, это не в характере Мануэля. Уведомить Гильдию о визите? Мысли неизбежно соскальзывали с беглого фармацевта на книги в его котомке. Удивительный выбор. Удивительный для всех, кроме мастера Филиппа. Случай? совпадение? Да, Мануэль способен к языкам. Но взять из дома переводы и пересказы одного исходного текста, о чем в семействе де ла Ита знать не могли (или могли?!), бежать в Хенинг, чтобы случайно встретить там Душегуба, знакомого по университету, наудачу явиться к однокласснику и перед постригом намекнуть на знание некоей тайны...

Для умысла слишком сложно.

Для случая: в самый раз.

— ...ведьма старая! Что значит: пропала?!

Мейстер Филипп поморщился. Грубый вопль вывел его из состояния сосредоточенности, когда кажется: вот-вот, и истина явится тебе во всей ослепительной красоте. Остановился. Повернул (...град стучит по подоконнику... ) голову. Вместо истины ему предстал двухэтажный дом, огороженный каменным забором. У распахнутых ворот хозяйка препиралась с двумя людьми, одетыми в ливреи Хенингского Дома.

— Нету ее! Утречком кинулись: нету!

— Прячешь?!

— Да ни боже ж мой! Чтоб у меня волдыри повскакивали! Чтоб мне света белого...

— Цыц, дура! Искали?

Знакомый дом. Пятый от угла. Здесь располагался особый лупанарий: для избранных. Как предписывалось думать горожанам, вместо блудниц тут обитали шляпницы, белошвейки и прочие девицы строгого толка, зарабатывая на жизнь дозволенным трудом под началом Толстухи Лизхен. Магистрат отлично понимал: рты людям не заткнешь, но слегка укоротить язычки — можно. А также напрочь отбить желание куснуть от чужого калача. Короче, хенингцы знали: посетители дома Толстухи Лизхен — птицы слишком высокого полета, чтобы плевать в них.

На самих камнем вернется.

Пожалуй, во всех знатных семьях (особенно если цепочка Обрядов насчитывала свыше десятка звеньев) каждый мальчик, едва войдя, что называется, «в сок», мигом уяснял простенькую правду. Зов плоти для него звучал воем волчьей стаи: одним — наслаждение погоней, другим — смертный хрип и кровь на снегу. Он без забот мог взойти на ложе женщины, чье происхождение было сходным с его собственным. Но попытка облагодетельствовать хорошенькую служаночку могла закончиться печально.

Для служаночки.

Да и для незадачливого любовника, если, конечно, он был не из тех, кого вдохновляют чужие мученья. Густав Быстрый, например, заранее поделился с сыном своим пагубным опытом, предвосхищая сыновние метания. В конце концов, ты жаждешь любви, и пускай не твоя вина, что любовь оказалась разрушительней болезни и безжалостней насильника... Потрясения иногда бывали губительны для неокрепшей души юнца: уходили в монастырь, бросались в сумасбродства, гибли в безнадежных походах. Кстати, сходные неприятности преследовали и людей вроде астролога Томазо Бенони. Только в случае их любви бедной пассии грозили отнюдь не телесные увечья, а расстройство рассудка, душевная горячка или расслабленность членов до скончания дней. И, сам будучи скорбен телом, человек вроде сьера Томазо нуждался в женщине, способной пробудить в плоти угасший дух — что, согласитесь, редкое искусство.

Белошвейки Толстухи Лизхен владели таким искусством.

Шляпницы выдерживали ласки дворян.

Лизхен, сама в прошлом опытная шляпница, бывшая на содержании у некоего маркграфа, умела готовить правильных девиц. Способных одарить высокопоставленных любовников всеми

прелестями страсти, оставшись при этом живыми и в здравом рассудке. За что и ценили.

— Куда ей деться? Февраль на дворе!

— Вернется! Покрутит хвостом и прибежит! — вмешался силач-привратник.

Люди в ливреях Хенинга переглянулись:

— А что мы скажем молодому наследнику?!

— Так он сегодня в Мондехар едет!

Свататься! Пока суд да дело...

— Велел домик ей снять... прислугу...

— Так я ж! я ж вам и!..

— Здоровы будьте, мейстер Филипп!

Сам не зная зачем, — скорее всего, желая отрешиться от вопросов, связанных с явлением Мануэля, — Филипп ван Асхе направился к заметившей его Толстухе Лизхен. Скандал у ворот тайного лупанария был мейстеру безразличен. Он скользнул взглядом по ливреям крикунов. Цвета Дома Хенинга, а на рукавах грозит клювом Рейвишский грифон. Люди молодого наследника. Интерес возник, но слабый. Сейчас пройдет. Сейчас все пройдет, и можно будет спокойно идти домой.

Мейстер Филипп не знал, что шаг за шагом входит в историю, которой суждено прерваться, едва начавшись, без видимого продолжения.

На тринадцать лет.

Пустяк, если задуматься.

— Здравствуйте, Лизхен! — кивнул  
Душегуб. — Как поживаете?

## Книга первая

— Как по-твоему, в деле охраны есть ли разница между природными свойствами породистого щенка и юноши хорошего происхождения?

— О каких свойствах ты говоришь?

— И тот, и другой должны остро воспринимать, живо преследовать то, что замечают, и, если наступит, с силой сражаться.

— Все это действительно нужно.

**Платон. «Государство»**

### I

Последняя овца, густо облепленная репьяками, заблеяла на прощание. Тряся курдюком, скрылась в глубине двора тетки Катлины. Мальчишка-пастух постоял немного, щурясь на закат: рыжие кудри солнца упали на лиловый гребень леса за Вешенкой. В лесу мальчишка ни разу не бывал: далеко, и волков там, говорят, прорва. Ну его, этот лес. А грибы с ягодами, травки-корешки для мамкиных отваров в ближних рощах сыщутся.

Зачем попусту ноги бить?

День к концу подходит. Овец по дворам развел, пора самому домой. А дома — ужин! Мамка небось коржей напекла: с утра тесто ставила. Коржи у нее вку-у-усные! С тмином. Но до дома, ужина и мамкиных коржей еще дойти надо: к запруде, где мельница дядьки Штефана. Ужин, выходит, издали хвостом машет, а брюхо песни поет.

Просто спасу нет.

Однако для своего возраста Вит был пареньком рассудительным. Хозяйственным, значит. Вот и сейчас, вместо того, чтоб без толку давиться слюной, запустил руку за пазуху. Ага, горбушка ржаной краюхи на месте. И очищенная луковица. Другой бы в обед все умял, а Вит сберег. Он отпустил собак: серого с подпалинами полуволок Хорта и трещотку Жучку, чернявую и наглую мелочь. После чего, никуда не торопясь, запылит босыми ногами по единственной улице, тянувшейся вдоль речки через все село. Смачно хрустя луковицей, жуя хлеб и будучи вполне доволен жизнью. По тощей заднице хлопала кожаная сума, явно знававшая лучшие времена. Сейчас из нее (из сумы, ясное дело!) наружу торчали пучок душицы и колкие соцветия «бабьих веретенец». Мамка довольна будет: все собрал, что велела!

За спиной ударил дробью конский топот. Привычно, не оборачиваясь, Вит сдвинулся правее, освобождая середину улицы.

— Байстриук!

Хлесткий удар хворостины ожег плечо. Мимо на чалом двухлетке промчался закадычный враг — Пузатый Крист, сын Гастона Рябушки.

— Эй, байстриук, насажу на крюк! — дразнился Крист, нахлестывая конька.

Больно не было. Обидно? — самую капельку. Привык. Зато спускать такие выходки не привык и привыкать не собирался. То, что Пузатый верхом, Вита ничуть не смутило. Мальчишка со всех ног припустил за обидчиком, быстро-быстро суча на бегу острыми локтями — словно отталкивался от ветра. Бежал пастушонок мелкими, семенящими шажками, неестественно выпрямившись, зато пятки его так и мелькали.

— Шиш спешишь! — радостно завопил Крист, заметив погоню. Он, дурила, всегда так: кричит всякую ерунду, лишь бы складно. — Шиш спешишь! шиш...

Вит надал еще, хотя это казалось невозможным. Щуплая фигурка саранчой летела по воздуху, настигая всадника. Солома волос растрепалась на ветру, кожа туго обтянула скулы, черты лица заострились; еще чуточку, и...

— Шиш... — Пузатый снова обернулся, но в

крике его уже не было ни радости, ни уверенности.

Жаль, в этот миг они поравнялись со двором Криста. Всадник, недолго думая, бросил конька влево, заставляя перемахнуть через плетень. И кубарем скатился наземь, кинулся в дом. Хлопнула дверь, загредел засов. Чалый, сразу перейдя на шаг, презрительно фыркнул и направился в знакомое стойло.

Вит с разгона налетел на плетень. Увидев в затянутом бычьим пузырем окошке, как довольный Крист самозабвенно корчит рожи, от злой досады саданул кулаком по плетню. В ответ раздался сочный хруст. Охнув, мальчишка в испуге уставился на сломанную верхнюю жердь. В прочной на вид оgrade красовалась изрядная прореха. Два расписных горшка свалились с кольев на землю, разлетевшись вдребезги.

Снова хлопнула дверь: собачьей пастью.

— Ах ты, байстрюк шелудивый! Ведьмачина! Пакостник окаянный! Да чтоб т-те сквозь землю провалиться, чтоб т-те в аду гореть вместе с твоей мамкой-курвой! Лихоманки т-те в три печенки! Пожди, пожди, стервец!.. я т-тя...

В дверях бесилась мать Криста, тетка Неле, пунцовая от долгого пребывания у печи и праведного гнева. Засаленный передник, казалось, сейчас треснет от распиравшей тетку ярости. Руки сжимали ржавый мужнин бердыш, держа его



древком вперед. Впрочем, и без бердыша тетка имела вид весьма грозный. Стоит ли удивляться, что Вит вместо «пожди» поступил точь-в-точь наоборот: бросился наутек. Однако буквально на втором шаге споткнулся, шлепнулся носом в пыль. Отчего-то мальчишка не спешил подниматься, убегая от греха подальше. Задергался поротой лягухой, словно тело вздумало разорваться натрое, и подоспевшая тетка Неле не замедлила воспользоваться бедственным положением «байстрюка».

— Попался, злыдень! — дубовое древко от души загуляло по костлявой спине. — Это т-те за горшки!.. за плетень!.. чтоб знал, волчина!.. чтоб помнил!

Выбравшийся во двор Крист поначалу злорадно хихикал из-за плетня, наблюдая за экзекуцией. Но очень скоро улыбка сползла с его конопатой физиономии, похожей на блин.

— Мамка, хватит! — не выдержал он. — Мамка, убьешь! Ну, мамка!

Он уже чуть не плакал.

— А ну живо домой! — на миг отвлеклась тетка Неле от справедливого возмездия. — Твое от т-тя не уйдет! Батьке скажу, он т-тя, лоботряса...

Избитый Вит вдруг перестал дергаться. Одним движением взлетел на ноги, подхватил суму и кинулся прочь. Будто не по его спине только что

гуляла дубовая палка, от которой и взрослый мужик бы скис на неделю. Очередной удар пришелся по каменно-твердой земле, утопанной сотней подошв. Тетка Неле, зашипев гадюкой от боли, в сердцах швырнула бердыш оземь:

— Семя окаянное! Всю себя об гаденыша отбила, а ему хоть бы хны!..

Когда воительница обернулась к собственному сыну, вид ее предвещал Кристиану мор, глад и семь казней египетских.

— Говорила т-те: не трожь Витольда! Говорила?!

— Ну, говорила... — заныл Пузатый Крист, предчувствуя грядущую порку.

— ...Дура!!! — заорал издалека пастушонок, обернувшись на бегу.

## II

Отбежав подальше, Вит перешел на шаг, на ходу отряхиваясь от пыли. Он ненавидел, когда его вслух звали Витольдом. При этом дружки ехидно добавляли: «барон бараний»! Действительно, что это за имечко: Витольд?! Никого в селе так не зовут. Другое дело: Крист, Марк, Андрус... Клаас, наконец! Но Витольд? Короче, имя свое мальчишка не любил, предпочитая Вита или на худой конец

Витку.

Разумеется, битье палкой он любил еще меньше. Ну а когда все сразу...

Спина основательно ныла. А, до свадьбы заживет! В первый раз, что ли? Синяки огорчали меньше, чем недоеденная горбушка, оставшаяся у сломанного плетня. Однако долго дуться на судьбу Вит не умел. Тем более что до дома, где ждал вкусный ужин, оставалось рукой подать.

Монетка солнца успела наполовину скрыться в кошеле леса. По селу ползли длинные тени, наискось перечеркивая улицу, во дворах бляла и мычала скотина, перекрикивались через плетни хозяйки, заглушая стоны темной листвы под гулякой-ветром, пахнувшим в лицо ароматом спелых яблок. Над трубами курился сизый дым.

Вечер властно вступал в свои права.

Ноги сами несли Вита: мимо хат окраины, мимо кучи гнилой свеклы, где жировал сбежавший хряк пьяницы Ламме. Здесь, валясь под уклон, улица незаметно превращалась в дорогу, чтобы, вильнув в сторону речки, вывести напрямиком к дому мельника Штефана. Этот дом Вит считал и своим тоже. А еще: мамкиным. Пускай мамка Штефану не жена. Пусть! Злоба распирает, конечно, когда мамку за глаза Жеськой-курвой бранят. Он, Вит, ладно: байстрюк там, ублюдок. Стерпим, нас не убудет. Зато в глаза мамке никто лишнего не

брякнет! Вон, в прошлом году Ян-бондарь напился и на все село кричал: мол, Жеська-курва — ведьма! порчу наводит! Из-за нее, мол, Янова буренка пустая ходит. И сына его курва сглазила: девка из Хмыровцев за парня замуж не пошла... И две бочки рассохлись: ведьмиными стараньями. Покричал, покричал бондарь, а там замолк. Замолкнешь тут, когда придут к тебе дядька Штефан с дурачком Лобашем да с двумя подмастерьями. Надолго замолкнешь. Только охать и сможешь, тумаки считая. Потом Ян еще к мамке таскался: прощенья просил. Бочку новую склепал: мамка в ней сейчас капусту квасит.

Так что если за глаза — ладно. А по-настоящему сельчане мамку от кого хошь защитят. Дело не в дядьке Штефане, хоть и тяжел мельник на руку. Если б не Жеська-курва, то кто мужикам спины править будет, килу обратно вкручивать, кто у баб роды примет, ежели дитя наперекосяк лезет...

— Доброго здоровьица, Витанечка!

«Вита-а-анечка!..» Тьфу! Про бондаря вспомнил, а Гертруда Янова, бондариха, легка на помине! Улыбочка масляная, глазки мышами в амбаре шныряют. Давно ли прибить грозилась? Это когда Вит с ее младшим, Гансом Непоседой, ершей удили, а Гансик в воду с кручи свалился. Едва не утоп. Вит за ним нырял-нырял — замучился. Но

вытащил. Так бондариха вместо спасибо: «Сманил мальчика, дурень здоровый, водянику в подарочек!..» Зато теперь — здрасьте-пожалста! Хоть на хлеб ее мажь...

— Здрaвы будьте, фру Гертруда.

— Домой возвращаешься? Что ж так поздно-то? Экий ты работающий, мамке на радость: все в трудах... А я от вас иду. Думала к Жюстине-милочке, к мамке твоей зайтить. Шасть на двор, а там телега: горстяник из города к Штефану за долей приехал. Так я заходить не стала, раз не ко времени. Ты, Витанечек, мамке от меня корзиночку передай-ка... Да скажи: от Гертруды Яновой гостинец. Здеся маслице, и медок, и сальце. Яичек три десятка. А мамка пусть настой в холодок ставит: небось сама разумеет какой...

Бондариха со значением оправила чепец.

— Слышал, небось: девка из Хмыровцев передумала? Быть моему красавцу женатиком! А настой, он для молодых, чтоб, значит, это самое. Чтоб жарче любилось. Внучку я хочу, до зарезу! Твоя мамка умеет, я знаю, она у тебя мастерица на все руки и на все штуки... Ну ладно, пошла я, а ты мамке передай: я за настоем после загляну.

— Передам, фру Гертруда.

— Вот и славненько, вот и славненько... До завтрачка, Витюленька!

— И вам того же, фру Гертруда.

На гостинцы будущая свекровь хмыровской привереды расщедрилась: мамкины настои того стоили. Особенно к свадьбе. Вит не удержался: едва бондариха скрылась за поворотом, запустил палец в примеченный сразу горшочек с медом. Мед был липовый, ароматный и сладкий, как... как мед!

Других сравнений на ум не пришло.

### III

Во дворе действительно скучала чужая телега — добротная, крепкая, с аккуратно составленными тремя мешками муки. Поверх мешков лежал огромный, в рост человека, двуручный меч с крестообразной рукоятью. Лезвие кроваво сверкнуло, отразив усталое за день солнце. «Это ж какая пахота: такую громадину за собой все время таскать!» — с сочувствием подумал Вит, безгласно трогая пальцем клинок. Металл был отполирован до зеркального блеска. Холодный, скользкий и... непривычный, что ли? Старый клевец дядьки Штефана, купленный еще его отцом на ярмарке, протазаны работников, да и секира великовозрастного дурачка Лобаша, щербатая, как ухмылка владельца, выглядели совсем иначе. Оно и понятно: горстятник меч не просто по закону носить обязан. Он ему для дела нужен. Головы разбойникам на плахе рубить.

Или он их топором рубит?

Вит на миг задумался. Может, и топором. Тогда почему меч с собой возит? Или меч у горстяника в сословной грамотке прописан? Не разрешив для себя трудный вопрос, Вит толкнул скрипнувшую дверь, миновал темные сени и сунулся в горницу.

За длинным столом собрались все: сам мельник, его сын Лобаш, мамка, подмастерья Казимир с Томасом, — а во главе стола восседал горстяник. Темно-бордовая рубаха, ворот широко распахнут (еще бы, с такой-то шеищей!), серебряная бляха старшины цеха на груди. Как и положено уважаемому человеку, главному палачу Хенинга. Недаром горстянику Мертену особый привилей дарован. На городском рынке любой палач может из чужого мешка горсть муки или там гречки даром брать (оттого их горстяниками кличут). А Мертен — сверх того. Раз в год, осенью, всю округу объезжает: с каждой мельницы по цельному мешку муки взять. Вот и сейчас приехал. Мельники ему загодя муку готовят: самую лучшую...

— Здрaвы будьте, дядя Мертен. — В присутствии горстяника Вит всегда робел, хотя Мертен давно велел звать его без церемоний, «дядей». — И все здравы будьте. Доброй трапезы.

— Садись, парень! — благодушно махнул

рукой мельник. Мальчишка поспешил примоститься на самом краешке лавки, рядом с Лобашем. Дурачок искоса подмигнул приятелю. Друзья они были: водой не разольешь. На рыбалку — вместе, по грибы — разом. Проказничали тоже сообща: когда Лобашу не надо было на мельнице мешки ворочать, а Виту — овец пасти.

Мамка живо набрала каши из общей миски. Постаралась: в разваренной крупе густо лоснились шкварки. Сунула ломоть хлеба, добавила свежий, только из печи, румяный корж. Вит потянулся к кувшину с квасом, но вспомнил о корзинке.

— Мам! тебе бондариха... — зашептал он, стараясь не мешать степенной беседе дядьки Штефана с горстяником. — Вот. Настой просила, венчальный... для сына... Внучку ей надо.

— Внучку? — Улыбка осветила тяжелое, «лошадиное» лицо Жюстины, сделав женщину вдруг необыкновенно миловидной. — Скажи: в конце недели пусть зайдет.

Она взлохматила пальцами и без того взъерошенные волосы сына, подхватила гостинцы бондарихи и направилась к кладовке. Жюстина была женщиной крепкой, дородной, ручка корзинки утонула в ее широкой ладони, да и сама корзинка вдруг показалась игрушечной. Тем не менее крылось в Жеське-курве тайное изящество, некая плавность движений, совершенно чуждая сельским



бабам: даром, что ли, мужики заглядывались ей вслед? А соседки откровенно завидовали, марая языком: ведьма, приبلуда, распутница! Святое дело помоями курву облить, когда байстрюка непонятно с кем прижила: сквозняком, видать, надуло. По сей день во грехе живет, zenки ее бесстыжие! Что под старым Юзефом пыхтела — всем ведомо. И под сыном его Штефаном. Под Лобашем-дурачком. И подмастерья маслились. И с ухватом, и с косяком, и с притолокой...

Однако, едва хмельные запрудянцы норовили подкатиться к Жеське, «курва» давала охальникам такой окорот, что запоминалось надолго. Сельского войта однажды затрещиной наградила: неделю скулу подвязывал, кобелина. Мокрой тряпицей. Мстить, правда, войт не стал, хоть и мог бы. Сказал народу: упал по пьяни, а где и как — память отшибло. Ведь признайся, что баба отоварила, — всем селом засмеют!

...А в кувшине, к разочарованию Вита, оказался не квас — пиво. Пива Вит не любил. Горькое оно. И голова потом болит. Зачем его взрослые хлещут? Впрочем, мальчишка утешился кашей со шкварками: наворачивал, будто с голодухи. Не забывая при этом держать ушки на макушке. Когда еще в доме такой гость объявится?!

## IV

— ...Вот я и говорю: по всему видать, новый наследник родился.

Горстяник степенно огладил пышные, аккуратно подстриженные усы. Уцепил за хвосты связку вяленых уклеек. Мельник Штефан подлил пива в кружку палача. Плеснул и себе.

— Иначе с чего бы старый герцог праздника закатил? — продолжил Мертен, отрывая уклеюкам головы. Он любил есть мелочь без лишней возни: с потрохами. — Сынок-то его, молодой граф Рейвишский, по сей день бездетен. Двенадцатый год, как женился, а все — впустую. Дочери не в счет: отрезанный ломоть. И тут — сын! Попомните мое слово: как вырастет, женится да внука Густаву Быстрому подарит — отпишет его высочество младшему и титул, и весь Хенинг... Если доживет, конечно.

Штефан понимающе кивал, прихлебывая пиво. По разговору могло показаться: за столом собрались не заплечных дел мастер да мельник с семейством — а по меньшей мере герцогский юстициарий с членами магистрата. С другой стороны, о чем народу языками чесать? Виды на урожай? Какая зима в этом году выдастся? Хромой Ник жену кочергой перетянул? Не без того, конечно. Кочерга, зима, урожай. Но ведь куда

интересней благородным господам косточки перемыть!

— А что ж младший-то... С дитями, говорю, чего оплошал-то?

Мельник, изрядно хмельной и потому чрезвычайно заинтересованный, перегнулся через стол. Можно было подумать: от ответа зависит его годовой заработок.

— А то! — Горстяник наставительно ткнул в потолок пальцем, толстым и волосатым. — Говорят, с турнира в Мондехаре пошло. Перед свадьбой. Сам не видел, врать не стану, только знающие люди шепнули: на турнире молодой граф хорошо дрался. Пока не вышел на него русинский князь: не человек — гора. Да и приложил молодого графа об арену. С душой приложил. Граф-то на другой день очухался, и все вроде бы в порядке, все путем — ан не все, оказалось. Детородную жилу повредил, значит...

— Жилу? Хозяйство на месте, в постели чин-чинарем, а детей нет?! — пьяно изумился Штефан.

— Ага, — согласился Мертен. — Ясное дело, в штаны их светлости никто не лазил и под кроватью супружеской ночами не сиживал... Но все на то выходит.

Он с сожалением поглядел на кучку рыбьих голов. Шумно отхлебнул пива.

— Чудны дела Твои, Господи! — влез подмастерье, кудрявый верзила Казимир. — Отобьют человеку детородную жилу, а он поначалу и знать не будет? И снаружи никак не увидишь?

— Отбить все на свете можно, — снисходительно усмехнулся палач. — Захочешь, сразу увидят, не захочешь — опытный лекарь только моргать станет. Дело нехитрое.

— А как? — заинтересовался крепыш Томас, изрядно смахивавший на упрямого молодого бычка. Даже рыжие вихры у Томаса навроде рожек завивались: хоть гребнем расчесывай, хоть водой мочи.

Горстяник с хитрецей прищурился:

— Ты сперва расскажи мне: трудно ль на мельнице муку молоть?

— Чего там рассказывать? — удивился Томас. — Мешки таскать тяжело, конечно... зимой, опять же, с колес лед скалывать... Работа как работа.

— Вот и у меня: работа как работа. Ежели обучен — ничего особенного. Надо будет, кнутом быка убью. Надо будет: девку на плаху кину, топором косу срублю, а шеи не трону. Живи, девка. А когда не умеешь — рассказывай не рассказывай — все едино: толку чуть. Ладно, поздно уже. Благодарствую за угощение, хозяин.

— Да и нам пора, — спохватился Штефан,

потрясенный историей про девку с косою. — Обмолот в разгаре, народ зерно на мельницу с утра до ночи везет. Вам наверху постелено, мейстер Мертен. Как обычно. Доброй ночи вам.

— Доброй ночи, Штефан. Эх, еще пивка напоследок...

## V

Горстяник Мертен был наследственным.

Еще прадед Двужильник, чья кличка успешно вытеснила настоящее имя даже в семье, человек неграмотный, темный, но исключительно даровитый, был в возрасте пятнадцати лет нанят Хенингским магистратом. Тогдашний горстяник Клаас, земля ему пухом, живо разглядел талант юнца, лично занявшись образованием Двужильника. Прадед в старости если и выпивал за ужином чарочку-другую, то первую здравицу непременно подымал за Клааса.

Молебны в церквях заказывал: по наставнику.

Своего сына Двужильник взял в науку сам. Говорили, что малыш мечтал быть водовозом, польстившись на огромную бочку с телегой, но Двужильник пресек детские грезы в зародыше. И позаботился, дабы наследник вырос если не грамотеем, то человеком с понятием. До университета в Саламанке или там в Сорбонне

дело, ясно, не дошло, но взять приличных учителей денег хватило. Слава Первоответчику, магистрат не скупился на жалованье лучшему палачу. Посему будущий дед Мертена сперва чертил крючочки да загогулины на желтом пергаменте, а потом брался за другие крючочки-загогулины в подвалах ратуши. Такой подход дал нужные плоды: не кто иной, как сын Двужильника через двадцать лет учредил Пыточный Коллегиум, прославившись далеко за пределами Хенинга трактатами «Овлaденье кнутом» и «Признанье злоумышленником вины, как первооснова допроса».

Заплечники из других городов большие деньги за копию платили.

А если еще и с дарственной подписью: «На добрую память коллеге от Йоханеса Пальчика...»

Мертенов отец превзошел родителя, да и Мертен не ударил в грязь лицом, упрочив семейную славу. Сдать экзамен на звание мастера лично ему считалось делом чести. Бургомистр слал поздравленья с днем ангела; цеховые синдики издалика раскланивались. Объемистый труд «Взгляд из-за плеча», дело всей жизни горстяника, близился к завершению. Войдя в камеру смертников после вынесения приговора, мастер Мертен приветствовал несчастных не иначе, как:

«Venit extrema dies!»,<sup>12</sup> справедливо полагая это утешением. Часто, во благо искусству, он предлагал смертникам сделку: выплату денежного пособия семье в обмен на право испытать новые методы. Поскольку терять приговоренным было нечего, кроме собственной головы, они с радостью соглашались на лишнюю боль во благо родственникам.

Если пытки, изобретенные Мертеном, не влекли за собой членовредительства, горстяник предлагал такую же сделку беднякам. После испытаний, вылеченные умелыми руками мастера, малоимущие возвращались домой, позванивая дареным кошельком. К несчастью, открытия в семейном ремесле случались реже, чем к воротам Мертена являлись желающие подзаработать, и всякий раз, отказывая добровольцу, горстяник чувствовал себя злодеем.

Женился он по любви.

Приданое при его заработках роли не играло. Красота — тоже. В подвалах, ловя скудный свет очага, приучаешься ценить истинную красоту: неброскую, спокойную. Клара, дочь цветочника Йоста, полюбилась горстянику с первой встречи. Он шел тогда по Нижней Чеботарской, а Клара на

---

<sup>12</sup> Настал последний день! (лат. )

втором этаже дома поливала настурции из глиняного кувшина. В движении белой ручки, в наклоне головы, в лентах чепца, падавших на мокрые венчики цветов, было столько земного очарования, что сердце Мертена сдалось без боя.

Сам Густав Быстрый прислал скорохода: поздравить со свадьбой. На шушуканье двора герцогу было плевать, а хенингским горстяником он гордился давно и не без оснований. В качестве подарка его высочество прислали сословную грамотку с высшим привилеем, на какой мог рассчитывать человек, лишенный дворянства: изображение оружия, заверенное печатью Дома Хенинга. Это позволяло вне дома обходиться без предписанного атрибута «слабости и худородства». Грамотку жених-горстяник принял с поклоном, рассыпался в благодарностях, но в дальнейшем пользоваться привилеем не стал. Везде показывался с древним двуручником, еще дедовским. Согласно чину. Что лишь добавляло почтительного уважения со стороны хенингцев.

Короче, жизнь мастера Мертена омрачала лишь одна несбывшаяся мечта.

Опробовать свое искусство на ком-либо, прошедшем Обряд.



Вставали в доме мельника затемно. Это зимой, когда работы мало, повезет иногда отоспаться. А сейчас: продрал глаза, перехватил наскоро кружку молока с хлебом — и за дело. Мужчины уходят жерновые поставки ладить. Вит с собаками — овец по дворам собирать. Мамка по хозяйству: прибирается, обед стряпает, над отварами-настоями хлопочет. Самая пора для них: свадьбы на носу. Да и на жнивах всяко случается: кто серпом ногу порежет, кто плечо вывихнет-потянет. И все — к ней, к Жеське. Не за так, понятное дело: гусака несут, пару курей, сала шмат, пива жбан... С мамкиным здоровьем бывало: наравне с мужиками горб под мешками гнула. Бычок Томас только крякал с одобрением. Но сейчас мужики без мамки управятся — у Жеськи свой промысел.

С утра погода не баловала. Небо, еще вчера васильково-синее, затопило болотной жижей. То и дело срывался колючий ветер, но дождь медлил. Выглянув в окошко, Жюстина нахмурилась. Не терпящим возражений тоном приказала Виту надеть кацавейку поверх обычной рубахи. И башмаки. «Еще бы кожух сунула, — недовольно подумал Вит, засовывая ноги в тесные башмаки. — Чай, не зима на дворе! Обувку, опять же, бить...» Однако пререкаться с матерью не стал. Знал: бесполезно. А выйдя на двор, и вовсе решил:

мамкина правда. Вона как похолодало.

Когда шел по селу, ветер нахально толкался в спину. К счастью, кацавейка была добротная, на овчине. Башмаки тоже оказались кстати, и Вит про себя помянул мамку добрым словом: всегда-то она в итоге права оказывается!

Овцы из дворов тащились вяло. Хозяйкам приходилось гнать их пинками и хворостинами. Ветер задувал все сильнее, крутя дорожную пыль смерчками, обе собаки старались вовсю, сбивая в гурт норовившее разбрестись стадо. День начинался погано: зябко, хмуро, ветрено, того гляди, дождь хлынет. Хотя в общем-то пустяки. Все одно отару на пастбище гнать надо, куда денешься?

Меньше всего Вит собирался куда-то деваться. Помог собакам собрать стадо — и погнал на Плешкин луг (ближний-то лужок овцы давно объели). Это в низинке, где начало Вражьих Колдоб. Говорят, раньше место звалось просто: Овраги. Однако кругом и других оврагов хватало. Так, чтоб не путаться, назвали Овражьими Колдобинами: там и впрямь нечистик копыто сломит! А после название само собой укоротилось, и стали Овражьи Колдобины — Вражьими Колдобрами. Любимое место пацанвы: хоть в «Лиходея-хватать!», хоть в прятки, хоть в догонялки. Есть где разгуляться. Вражьи Колдобы тянулись на несколько миль, ветвились, разбегались в разные

стороны: укроешься по-настоящему — хоть с собаками тебя ищи... Однако сейчас Виту было не до забав. Опять же: какой интерес лазить по оврагам в одиночку?!

А Лобаша дядька Штефан с мельницы не отпустит...

Ветер унялся. Овцы тоже успокоились и больше не пытались разбежаться, чтобы вернуться домой, в теплый хлев. Вит зашагал веселее, даже принялся насвистывать на ходу. Жучка взялась старательно подвывать; Хорт трусил молча, неодобрительно косясь на обоих.

Он вообще редко что одобрял в этой жизни, кроме хорошей кости.

## VII

Перевалив через Лысый Бугор, стадо разбрелось по лугу, а Вит принялся за сбор трав, вполглаза приглядывая за овцами. Небо угрюмо нависало над головой: чисто брюхо тетки Неле на сносях, когда она последнего таскала. Помер последний-то на третий день. Видать, и небу никак не разродиться. «Хоть бы выдождало его наконец!» — с тоской подумал парнишка. Блажь небесная нагоняла уныние.

И, словно в ответ, первая капля щелкнула Вита по носу.

Однако обрадовался он рано. Дождь зарядил мелкий и нудный, словно брызжанье похмельного пьяницы Ламме. Овцы на морось чихать хотели, равнодушно щипля траву, а Вит с собаками перебрались в ближайшую рощу. Под матерый вяз, чья крона оказалась надежней крыши. Солнце спряталось, но бурчание во впалом животе не хуже всякого солнца подсказало: время обедать. Грех врать: голодом пастушонка не морили. Особенно учитывая, что Жюстина, души в сыне не чаявшая, стряпала на всех в доме! Жаль, вкусная мамкина стряпня не шла мальцу впрок: щуплый, угловатый. Ребра наружу выпирают. И вечно... ну, не то чтобы голодный. Проголодавшийся.

Куда оно все девается?!

Размышляя о причудах собственного живота, Вит начал развязывать узелок со снедью. Как раз в этот момент со стороны дороги, проходившей за Лысым бугром, донесся топот копыт. Пожалуй, это не на дороге даже. Сюда едут! Иначе не услышал бы.

Пятеро всадников и повозка, запряженная мохноногим битюгом, вынырнули из-за бугра.

Знакомую повозку сборщика податей Вит узнал сразу. Вон и сам мытарь: серьезный седатый дядька в полукафтанье бычьей кожи. Башмаки городские, высокие, пряжки чистого серебра. Бляха магистрата луной сияет. А лошадью правит один из

стражников: станет мытарь руки вожжами пачкать! Господина из себя корчит. Ну и стражники следом выкобениваются. Только все едино, такие же простолюдины, как и прочие. Разве что должность побогаче. Значит, сколько ни выпячивай грудь, придется оружие носить. Какое по сословной грамотке прописано. Вит ехидно улыбнулся. Вон у мытаря топорик за поясом. Хоть из штанов выпрыгни, а железяка дурацкая — вот она!

Никуда не денешься, мил-человек.

Хорошо, что ему, Виту, пока грамотку не выписали. Мал еще. Но когда вырастет — пропишут. Еще года три, от силы четыре. Будет всюду таскать постылый бердыш или протазан. Ибо простолюдин по природе своей низкой слаб есмь и беспомощен, без оружия гроша ломаного не стоит. Вот и заведено с давних времен, дабы все мужчины подлого сословия всегда при себе оружие имели: в знак слабости, худородства, в память о том, что зависят от чужой силы, от благородного господина своего. Ну и для защиты от разбойного люда. Правда, Вит ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь с помощью этой дурости, что грамотка носить обязывает, от разбойников отбился. Стражники — другое дело, их оружием владеть в казармах учат. Только они все равно его терпеть не могут. Больше голыми руками обойтись норовят. Хоть и не поощряется, но... начальство на то глядит сквозь

пальцы.

Да что там стражники! Мужуку в пьяной сваре за нож или топор схватиться — последнее дело. Позор. В глаза наплюют. Уговор негласный: драться кулаками, «по-благородному». Хватит того, что срам ржавый за собой волочишь. Еще в честную драку с *этим* лезть...

Тем временем процессия въехала в рощу, под прикрытые деревья. Мытарь явно решил устроить привал: стражники спешили, начали расседлывать лошадей. Кто-то, ворчливо поругиваясь, искал сушняк для костра, а старший первым делом стащил с себя кольчугу, оставшись в стеганой поддевке. На привалах, когда в округе спокойно, подобная вольность дозволялась; а так — служба!

Вита первым заметил мытарь. Повелительно махнул рукой:

— Эй! Подь сюда!

От мытарей да стражи держись подальше. Это Вит давно усвоил. Вот горстяник — другое дело. Чего честному человеку горстяника бояться?..

Не хотелось идти, а пришлось.

Подошел. Встал в двух шагах. В лицо мытарю смотреть боязно, а мимо глядеть — увидит, что мальчишка от него нос воротит, как пить дать разозлится.

— Добрый день, гере мытарь.

— И ты здоров будь. — Покрытое складками, словно изжеванное, лицо мытаря треснуло ухмылкой. Кривой, неласковой. — А чтоб день по-настоящему добрым выдался, гони-ка ты мне, братец, пару овец. Пожирней которые.

— Зачем, гере мытарь?

Вит корчил из себя полного болвана. Ясное дело, овец придется вести. Иначе сами возьмут, а пастуха выпорют. Но овец было жалко, и мальчишка просто тянул время, ни на что особо не надеясь.

— Ты совсем придурок? — каркнул сборщик податей. — Жениться я на твоей овце хочу. Вон уже вертел наострил. Давай веди. Или кнута захотел?

— Не надо кнута, гере мытарь. Я сейчас.

— Вот так-то лучше, — довольно проворчали Виту в спину. — Наладились, как один: дурачками прикидываться. А кнута посулишь — мигом умнеют!

В селе за овец, конечно, нагорит, особенно от хозяев. Но не сильно. Побранятся, выкричатся и плюнут. Понимают: откажи мытарю — бед не оберешься. Все одно по-его будет. С пастушонка какой спрос-то? Правда, втихую пенять станут: почему мою овцу отдал, а не соседскую? А гад-мытарь еще и целых двух затребовал...

Овец Вит выбрал каких поплоче. Одну —

тетки Неле, в отместку за вчерашние побои, другую — хромую, тетки Катлины. У нее овец целых двенадцать голов: повздыхает да и бросит. И ругается она меньше других.

— Стой! Стой, кому говорю! Поглумиться над нами вздумал, сопляк?! Я, по-твоему, мослы грызть стану?!

Над Витом возвышался стражник. Длинный, как жердь, тараканья рыжина усов под крючком носа. Глазки водянистые, злые. Цепкие пальцы ухватили мальчишку за шиворот, встряхнули.

— Брось эту падаль. Вон того барана гони...

— Не надо, дяденька! — взмолился Вит, безуспешно пытаясь высвободиться. — Это войтов лучший баран! Мне за него войт голову оторвет! Я вам другую овцу найду...

— Раньше надо было другую искать. А теперь: давай войтова барана. И в придачу...

Договорить стражнику снова помешали. Подлетели Хорт с Жучкой, зашлись лаем: Жучка — залиivistым, визгливым, Хорт — хриплым басом, сулящим выдранный клочок из задницы. Того и гляди, всерьез бросится, рвать начнет.

— Собаками травить вздумал?! — искренне изумился стражник. — Г-гаденыш!..

Свободной рукой, не найдя подходящей палки, он потянул из ножен меч.

Сердце Вита ушло в пятки. Сейчас Хорт точно



кинется! Ой, что будет! Под горячую руку и собак порубят, и ему, Виту, достанется! Хорошо, если только кнутом отходят.

— Хорт, назад! Лежать! Жучка, цыть! — Отчаянно закричав, пастушонок присел, вьюном крутнувшись на месте.

В ответ послышался хруст. Вит сперва решил, что порвалась кацавейка, и тут стражник заорал благим матом:

— С-с-учонок! Ты ж мне пальцы сломал! Пальцы! Я тебе сейчас кишки выпущу, ублюдок!

Однако Вит уже был свободен и бросился прочь — вслепую, не разбирая дороги.

## VIII

Убежать он успел недалеко. Кто-то подставил ногу, и беглец кубарем полетел наземь, изрядно проехавшись по скользкой от дождя траве.

— Держи его!

— Держу...

Сверху навалились, тяжело сопя, прижали к земле. Умело завернули руки за спину. Поодаль хохотали: то ли над ним, Витом, потешались, то ли над незадачливым товарищем. Разрывались Жучка с Хортом, потом вдруг послышался отчаянный визг, рычание.

Неужто зарубили?!

— Да я его... в куски!..

— Охолонь! Слышь, Остин?

— Да он мне! пальцы!..

— Я сказал: остынь!

— И верно... убери железку...

Голос показался знакомым. Горстяник?! Точно, горстяник. Видать, в город отправился, да тоже свернул в рощу: дождь переждать.

Вит хорошо все слышал, но видеть мог только мокрые травинки перед носом. Крепко держат, головы не поднять.

— Что за история?

— Да вот, мальчишка бузит. Руку Остину повредил.

— Бузит, так проучите. На то и плети. Кнут, опять же. А железка — дело грязное, стыдное. Дай-ка руку, погляжу твои раны.

— Точно! Ты, Остин, иди к мейстеру Мертену! Он тебя починит, он тебя приласкает...

— Ага, починит... Знаю я, как он чинит!

— Дурак, — беззлобно отметил горстяник. — Ты ж не в пыточной, убоище. Гляди, и вправду два пальца сломаны. Эк тебя угораздило! Сиди пока, я сейчас лубок смастерю.

— Слыхал, гаденыш? — зловеще дыхнул Виту в самое ухо. — Два пальца должностному лицу! Стало быть, бунтовщик ты и мятежник. Супротив власти пошел: на стражника напал,

собаками травил. А знаешь, что с бунтовщиками бывает? Опять же, палача искать не надо: сам мейстер Мертен здесь! Он все и сделает, в лучшем виде... Не сомневайся!

Ясное дело, стражник просто веселился, запугивая тупого мальчика. Стоявшие рядом приятели давились беззвучным смехом, зажимая рты — чтобы раньше времени не испортить представление. Что с пастушонка взять? Выпороть от чистого сердца. С родителей виру за Остиновы пальцы требовать. Пускай батька с маткой поганца по новой выдерут. Но отчего бы для начала не застрашать дурня до смерти? Чтоб знал в другой раз!

Виту все это было невдомек. Мальчишка действительно испугался. До дрожи, до темноты в глазах. До ледяного пота и спазмов в пустом животе. Мятежник! Бунтовщик! Вит слышал, что делают с бунтовщиками. Головы секут, колесуют, вешают. Иных на кол сажают, четвертуют... Собак порубили, сейчас его очередь! Никак не мог он видеть, что сзади к нему подходит не горстяник, занятый рукой пострадавшего Остина, а мытарь. И в руках у мытаря не топор, не меч, не каленые клещи. Кнут обычный. Видел бы — не стал рыпаться. Ну, выпорют. Ну, сильно выпорют. Больно будет. В первый раз, что ли?..

Тяжелые шаги приблизились. Скрипнула

мокрая трава.

— Снимай штаны с поганца. Я его...

Голос был не палача, а сборщика податей, но Вит уже ничего не соображал от ужаса.

«На кол! На кол сажать будут!»

Когда чужие руки взялись за штаны, намереваясь их стащить, Вит рванулся так, как не вырывался еще никогда. В полной уверенности, что спасает свою жизнь! Завернутые за спину руки выскользнули из захвата: не ожидал стражник такой прыти, не удержал. Куда угодила его нога, вдруг обретшая собственную волю, Вит не понял. Брыкнул назад, и деревянная подошва башмака ткнулась в живое. За спиной взвыли так, будто стражника по ошибке усадили на кол вместо «бунтовщика»!

Взвоешь тут, когда башмаком в самый сок заедут!

А мытарь оказался куда проворнее, чем можно было подумать. Впрочем, Вит меньше всего думал — просто, когда он уже вскочил на ноги, чтобы бежать, его крепко обхватили сзади. Тело что-то *сделало* (такое иногда случалось: тело *делает*, а голова пустая-пустая, и еще холодно...), человек позади охнул, разжав руки... Парнишка бросился наутек. Забыв про овец, порученных его опеке. Пусть хоть всех сожрут, лишь бы самому уйти! Он мчался в сторону Вражьих Колдоб. Там не

найдут. А собак у них нету. Сердце отчаянно колотилось в груди. Перед глазами все вертелось колесом. Ушел! Жив! Свободен! — стучала в ушах гулкая кровь.

Вит не видел, как за спиной медленно оседает на землю мытарь, вцепившись в правый бок. Как стремительно бледнеет жеваное лицо, закатываются глаза. Как между пальцев начинает сочиться темно-багровая, почти черная струйка.

— Дядя! Что с тобой?! — бестолково причитал над мытарем младший из стражи: пареньку лет семнадцать, усишки едва пробились. — Дядя! Встань!..

— А ну-ка, отойди, — горстяник толкнул в сторону младшего, действительно доводившегося мытарю племянником. Присел рядом с обеспамятевшим сборщиком податей, аккуратно расстегнул на нем одежду.

— Держи сучонка! — запоздало опомнился кто-то. Кинулся к уже расседланным лошадям. Куда там! Мальчишка улепетывал: только пятки сверкали. Вернее, пятки как раз не сверкали. Бежал пастушонок странно, мелко-мелко семеня, но очень быстро перебирая ногами. При этом удрав весьма далеко.

— Держи! Лови!

Нет. Скрылся с глаз. Видать, в овраг нырнул. Гнаться не стали: бесполезно.

Горстятник долго молчал, глядя на малую, но очень скверного вида рану в боку мытаря. Печенка задета. Ох, грехи наши тяжкие... Лицо палача все больше мрачнело, на лбу проступили вертикальные складки. Он сразу понял: мытарь — не жилец. «Ножом, стервец, пырнул», — была первая мысль. Однако разглядев рану поближе, мейстер Мертен осознал ошибку. Не в том, что смертельная: спасти мытаря сейчас могло лишь чудо, а палач был человеком практичным. Насчет ножа ошибся. Не ножевая дырка. Стилет? граненый?! Похоже, хотя шире. Откуда у сельского щенка стилет? Отродясь по деревням в сословных грамотках такого добра не прописывали... На всякий случай палач внимательно огляделся. Ничего похожего на земле не обнаружилось.

А удирал пастух с пустыми руками.

Еще подобную рану можно было нанести клевцом. У мельника, например, прихватил. А здесь, в горячке... Но уж клевец мейстер Мертен точно заприметил бы. Кроме того, ни один мальчишка, еще лишенный грамотки по возрасту, не притронется к чужому оружию. Даже в драке. Бычьим рогом ударил? Что ж пастух, все это время рог в рукаве прятал?! Глупости. Враки записные. Да и с какой силищей бить-то надо, — дошло вдруг до палача, — чтобы кожаное полукафтанье просадить?! Паренек лядащенький, хилый. Локтем

он мытаря ударил. Мейстер Мертен сбоку стоял, ему хорошо видно было. Локтем.

Прятал рог в рукаве, острием назад?

Чушь.

Значит, остается...

О том, что остается, думать не хотелось. Горстяник припомнил сломанные пальцы Остина, покосился на стражника, до сих пор лелеявшего причинное место. Лучше язык за зубами держать. Делай свое дело, в чужие не суйся и болтай поменьше — этому принципу мейстер Мертен неуклонно следовал давным-давно.

Он поднялся, отряхивая колени.

— Ну? — с надеждой сунулся мытарев племяш.

— Плохо, — зря обнадеживать не следовало. — Печенка у него пробита.

— Ножом, гаденыш! ножом! Убью-у-у-у!.. — завыл молодой стражник, сжимая кулаки в бессильной ярости. Кажется, он плакал. И вдруг отчаянно бросился к горстянику:

— Спасите его, мейстер Мертен! Я знаю, вы умеете...

— Тут и лучший лекарь вряд ли поможет, — вздохнув, развел руками палач. — Разве что чудотворца какого найти успеешь.

Подошел Остин, баюкая поврежденную руку здоровой. Взглянул на рану мытаря, поджал губы:

— В село его отвезем. Вы с нами, мейстер Мертен?

— Нет, — покачал головой горстяник. — Перевяжу его, лубки тебе доделаю и поеду. В город мне. Вы уж сами...

— Спасибо, мейстер Мертен...

Палач дал себе молчаливый зарок: на обратной дороге нигде не задерживаться.

От греха подальше.

## IX

В шалаше было сухо и тепло. Но Вит все равно дрожал: не от холода, от возбуждения. Липкий страх отпускал медленно. Его чуть не казнили! Еще миг — и сидеть бунтовщику на колу! Говорят, боль адская... Скотившись в овраг, он весь перемазался в глине, сейчас пытаюсь отчистить штаны с кацавейкой. Получалось плохо. Одно хорошо: шалаш они с Пузатым Крестом выстроили в укромном месте. Здесь не найдут. И от дождя ветки спасают.

Страх гас, к парнишке возвращалась его обычная рассудительность.

Во-первых: отсидеться. Хотя... Кто его станет искать? Стражники лентяи, им по оврагам шастать хуже рожна. А у мытаря своих дел навалом, не до Вита ему. Какой из меня мятежник? — сообразил



вдруг пастушонок. — Ведь не убил никого, речей возмутительных не говорил, не воровал, не грабил... Может, пронесет? Ну, слопают-таки войтова барана. Ладно, переживем. В село они вряд ли поедут: подати раньше собрали, кому из молодых срок оружие покупать, в грамотках прописали. По всему выходит: пообедают и уедут. Отару не угонят, они ж не разбойники, а совсем даже наоборот. Значит, надо просто переждать, собрать овец и...

Вот собак — жалко.

От горестных раздумий Вита оторвал тихий скулеж. Выглянул из шалаша:

— Хорт! Живой!

Жучка тоже была здесь, но не лаяла. Понимала, умница: прячемся. Лишь повизгивала тихонько да все норовила в щеку лизнуть.

Мальчишка пустил обеих собак в шалаш, и Хорт улегся рядом, зализывая глубокий порез на лапе. Хорошо хоть напрочь не отсекли. Хитрая Жучка, как всегда, целехонька. Привыкла, что за нее Хорту отдуваться. Она цапнуть может от души — но уж скорее за лодыжку, когда отвернешься. А Хорт, глупый волчара, в лоб кидается, безо всяких уверток.

За то и пострадал.

На душе стало веселее. Дождь стих, но выбираться наружу Вит медлил. Сидел в шалаше,

гладил своих любимцев. Прикидывал так и сяк. До заката далеко, но остаться на выгоне — дудки. Надо гнать отару в село, развести овец по дворам, на вопросы не отвечать, а сразу домой. Повиниться мамке с дядькой Штефаном. Выдерут, конечно, а в обиду чужим не дадут. Да и никакой особой вины он за собой, честно говоря, не чувствовал.

Жучка наконец улеглась. Стала зачем-то лизать правый локоть Вита. На время отвлекшись от раздумий, парнишка обнаружил: и рубаха, и кацавейка на локте прорваны насквозь. Вокруг прорехи расплылось бурое пятнышко, уже частично зализанное Жучкой. Небось ободрал руку. Сняв кацавейку и стащив через голову рубаху, Вит вывернул локоть — вся сельская пацанва обожала, когда он на спор кусал свои локти. Вот, пригодилось. Ага, вечная заскорузлая ссадина, которая была там, сколько Вит себя помнил, — на месте. На левом локте такая же. Только сегодня правая ссадина вроде как больше стала. И кровь свежая. Края ссадины слегка разошлись. «Точно задница!» — пришло в голову похабное сравнение. Следом явился стыд. В доме мельника сквернословов не жаловали. Жюстина сына воспитала соответственно; быть может, даже излишне строго.

Он смутно припомнил: когда вырывался, в локте щелкнуло. «Небось тогда руку и рассадил, —

справедливо решил Вит, одеваясь. — Мамка выберит, за одежду-то...» Однако домашняя выволочка казалась пустяками по сравнению с угрозой казни за мятеж. Или стражники его просто пугали? Небось потешаются сейчас! Хотя удрать от взрослых дядек, кому по службе положено хватать да вязать... Сердце Вита наполнилось мальчишеской гордостью. Расскажу Пузатому Криту — от зависти лопнет!.. Хотя нет, не лопнет — не поверит. А жаль...

Еще через час он выбрался из шалаша.

## Х

Возвращались привычной дорогой, только раньше обычного. Дождь прекратился, но земля размокла, противно чавкая под ногами. На башмаки налипли комья грязи. Раздраженно блеяли овцы: им не нравились ни погода, ни дорога, ни ранний уход с пастбища. На лугу осталось море недоеденной вкусной травы! На удивление, все овцы оказались целы. Даже войтов баран бежал впереди. Странно. С чего это стражники вдруг передумали?!

Вит недоумевал. Так, недоумевая, выбрался на бугор и застыл столбом.

Гвалт был слышен даже отсюда, хотя слов разобрать не удавалось. Возле войтова дома стояла знакомая повозка мытаря, толпился народ. Стража

тоже была здесь: влажно отблескивали шишаки и кольчуги. Один из стражников с криком стегал кнутом кого-то, распростертого прямо на земле. Бил страшно, жестоко. «На смерть ведь забудет!» — обмирая, подумал Вит. Похоже, испугался не он один: товарищ экзекутора шагнул, ловко выхватил кнут, а когда палач-доброволец в запале стал пинать лежащего ногами, обхватил сзади, крепко прижав руки к телу и оттащил от жертвы.

«Из-за меня?! — страх вернулся. Обдал ледяной волной, подступил к горлу. — Или еще что приключилось?»

В любом случае в село сейчас возвращаться нельзя. Сообразив, что торчит, как любил браниться пьяница Ламме, «хреном с бугра», у всех на виду, Вит запоздало присел. На карачках отполз назад. Однако в его сторону никто не смотрел: все были заняты расправой у дома войта.

«Назад, во Вражьи Колдобы! Пересажу до вечера, а по темноте проберусь домой! Вот только отара... А что отара? Собак кликнуть, они овец в деревню сами пригонят. Народ увидит — разберет...»

Охромевший Хорт и Жучка повиновались сразу: с лаем закружили вокруг стада, сбили в кучу, погнали вниз. Вит обождал, дабы убедиться, что хоть с этим все будет в порядке, потом вздохнул и быстро пошел прочь. К счастью, на обратном пути

он подобрал свой узелок с харчами — добро осталось под вязом, никто не позарился. Или не заметили. Так что голод, по крайней мере, мальчишка утолил. К постоянному «сверчку в пузе» Вит давно привык. Редко удавалось наесться так, чтоб от обеда до ужина не мечтать о куске хлеба. И кормили вроде сытно — просто такой уродился. Казимир с Томасом «проглотом» дразнят. Но Вит не обижался.

Они ведь не со зла.

В шалаше беглец, сам того не заметив, впал в мутную дрему. Все, случившееся сегодня, никак не укладывалось в голове. Быстрая смена событий: пререкания со стражей и мытарем, ужас близкой расплаты, дерзкий побег, сердце, готовое выпрыгнуть через горло и лягухой ускакать прочь, обгоняя хозяина; безумная радость спасения, незнакомая доселе гордость — гордость уже не мальчишки, но отчаянного подростка, сумевшего вырваться из цепких лап Закона; растерянность, недоумение, снова страх... Для сельского мальчика это оказалось чересчур. Разумеется, пастушонок не мог выразить свои чувства словами: просто в душе его царил полный сумбур. Сейчас, когда больше не надо было вырываться, бежать, что-то решать, им вдруг овладела тупая апатия. Вит провалился в вязкий омут сна, свернувшись калачиком внутри хлипкого шалаша и поминутно вздрагивая всем

телом.

Так он лежал долго. До вечера.

— ...Витка! Проснись!

Дернулся, как от удара. Не соображая, что происходит, взбрыкнул ногами, едва не развалив шалаш. Очнулся.

— Ты чего?! Это же мы! Поесть тебе принесли...

Снаружи смеркалось, а в шалаше и вовсе царила темень. Однако Виту тьма не была помехой. Разглядел, кто перед ним: великовозрастный дурачок Лобаш и Пузатый Крист, заклятый друг.

— Тута и хлебушек! и сырчик! и даже вич-чина... — радостно завел Лобаш. Говорил он так вкусно, что у Вита мигом проснулся зверский (сам Вит при этом еще зевал!) аппетит. Набросился на еду, уплетая за обе щеки.

Крист сделал круглые глаза.

— Ты ешь, впрок ешь... Ты ж теперь мытарев убивец! — торопясь, чтобы Лобаш его не опередил, с азартом выпалил Пузатый.

Кусок застрял в глотке. Вит поперхнулся, закашлялся, из глаз брызнули слезы. Пришлось добряку Лобашу спасать: двинул в спину кулаком. А то недалеко и до беды!

Впрочем, беда уже случилась.

— Брехло! Чуть не задохся из-за тебя...

— Я брехло?! — Возмущению Криста не было

предела. — Лобаш, докажи!

— Угу, — подтвердил честный Лобаш. — Нет, не брехло он, да. Ты убил. Убил! Ты теперь убивец, да. Вот здорово! Ты — убивец! Я раньше убивцев отродясь не видал!

Хихикнув, дурачок расплылся в улыбке до ушей.

— Помер мытарь, — Крист снова поспешил вмешаться, явно боясь опоздать с новостями. — На войтовом дворе. А ты правда не знал? Да?

— От чего?! От чего помер? От хвори?!

— Да от тебя же, дубина! Ты его ножом пырнул, в самые печенки. Мамку твою кликнули, думали: поможет. Куда там! Даже монаха позвать не успели, чтоб исповедал да отходную прочел. Пока в монастырь бегали... А как стражники узнали, что Жеська — твоя мамка, так один кнут схватил. Давай ее охаживать! Мало не убил. Родич покойнику оказался...

Навалилась глухота. Придавила,дохнула в уши жаром.

Так вот кого хлестали кнутом возле дома войта!

## XI

— ...Дергунец! Опять! Дергунец! Я знаю... — шептал перепуганный Лобаш в ухо Кристу, горячо

брызжа слюной.

— Да уймись ты! — не выдержал Пузатый.

Отстранился, вытер заплеванную щеку.

— Никакой это не дергунец. Столбун у него. Сейчас отпустит. Сиди и жди, понял? В первый раз, что ли?

— Не в первый, не в первый... — согласно забормотал Лобаш, успокаиваясь. Плюхнулся на травяную подстилку, охнул, отбив зад. Кивнул сам себе. — Было, было, было! Лобаш помнит. Столбун у него, да, столбун. Ждать будем, будем ждать. Ждать...

Вит застыл перед ними в странной, противоестественной позе. Сидел на корточках, жевал кусок ветчины, рукой за хлебцем потянулся, наклонился вперед — да так и застыл. Будто в игре «мертвяк-с-печки-бряк». Только страшно по-настоящему. Не дышит почти. Лицо разом заострилось, как у покойника или «травяного монашка». Глаза бельмастые, пустота в них: черная, нездешняя. Сейчас, в темноте, видно плохо — да смотреть не больно-то хочется. Навидались. То дергунец Вита трепал (юрод однажды рядом случился, сказал: «пляска святого Вита!»), то иная дрянь, навроде падучей. Тот самый юрод Хобка неделю в селе околачивался, так на его падучую все мальчишки смотреть бегали. А у Вита — иначе выходило. Без пены на губах. Опять же: «курий



слепень», бывало, скручивал, и столбун, вот как сейчас.

Одно хорошо: отпускает быстро. Тут главное: чтоб в речке не скрючило, на глубине, или когда Вит на дерево залезет (ох, и лазает, аж завидки берут!). Пока обходилось, Бог миловал. А ежели схватило — не помочь. Сиди себе, жди.

Вот Крист с Лобашем сидели и ждали.

Дождались.

Тело Вита вдруг обмякло, мгновенно потеряв всю жесткость, удерживавшую его в шатком равновесии. Хорошо, руку успел выставить, иначе точно б нос расквасил, падая.

— Столбун? — спросил парнишка, как ни в чем не бывало усаживаясь на прежнее место.

— Ага! — дружно кивнули приятели.

— Ну и пусть его... Что ты про мамку мою говорил, Крист?

— Жива твоя мамка, живехонька! Кнутом, говорю, ее стражник отходил. Сильно излупцевал, гад!.. Я б, наверное, сразу помер. А вы двужилые: что ты, что мамка твоя. За дядькой Штефаном сбегали, они с Лобашем домой ее отнесли.

— Я отнес! Я Жеську отнес! Я! — гулко бухнул себя кулачищем в грудь Лобаш, красный от гордости.

— Как она, Лобаш?

— Живая Жеська! Живая! Стонет. Лежит.

Лежит. Стонет. Больно. Живая!

— А стражники? — спохватился Вит.

— Уехали стражники. Мытаря-покойника в Хенинг повезли. Войту наказали: тебя, как явишься, вязать — и тоже в город, в тюрьму! Тебя теперь, наверно, сказнят! Голову отрубят. Горстяник Мертен и отрубит. Да ты не бойся! Мертен, он головы здорово рубить умеет. Хрясь, и ты на небе!

Вит угрюмо молчал. Все, конец. Поважут. Свои же сельчане и поважут.

Прощай, головушка!

— Не убивал я мытаря. — Слова шли горлом, будто кровь: соленые, страшные. — Не убивал. Нету у меня никакого ножа. Чем бы я его пырнул? Пальцем?

Сказал и понял: не верят, хоть вслух и не говорят. Даже Лобаш отвернулся. Губы жует. Если уж лучшие друзья не верят — чего от других ждать-то?!

— А ты в село не ходи! — заявил вдруг Крист. Глаза Пузатого загорелись. — Ты лучше в бродяги подайся. Или в разбойники! Они тебя возьмут, ты ведь теперь тоже разбойник!

Лобаш молча хлопал коровьими ресницами. Поворачивался то к Виту, то к Кристу. Словно впервые обоих увидел. Да и Вит малость ошалел от идеи заклятого дружка. А что? — подумалось. Прав Крист! Одна дорога: к лихим людям. По которым

плаха плачет. Эти не выдадут. Только где их найти? Да и боязно из села уходить. Очень хотелось повидать напоследок мамку. Как она там, после кнута? Повиниться, попрощаться, а дальше — куда глаза глядят.

Что-то сладко оборвалось внутри, заныло в предчувствии... чего? Вит не знал: чего.

Нового? небывалого?!

— Крест, ты мне друг? — очень серьезно спросил мальчишка.

Пузатый моргнул:

— Ну! Только в разбойники я с тобой не пойду. Меня мамка убьет...

— Да я не о том! — с досадой поморщился Вит. — Ты меня не выдашь? Домой я вечером пробраться хочу. Не могу я так уходить... не простившись.

— Могила! — горячо заверил Крест, пыхтя. — Чтоб я сдох!

Что правда, то правда: Пузатый — могила. Врединой был. Дразниться любил. Шкодничал. Но доносить — никогда. Раз, помнится, вместе озорничали: веревкой дорогу впотьмах перетянули. Ждали, кто перецепится да носом землю вспашет. Дождались. Добро б тетка какая или мужик пьяный. Парни молодые с гулянки шли. Двое таки перецепились. Вспахали. Ох и удирать потом пришлось! Вит убежал, парни в темноте даже не

разглядели, кто это был, — а Криста поймали. Бока намяли крепко, от души. Требовали дружка выдать. Не выдал Пузатый. Врал напропалую, молол, что на язык попадет, орал, когда били, но — не выдал. На этот счет Вит мог быть спокоен.

— Спасибо, Крист. Ты настоящий друг.

— А я?! А я?! — обиделся Лобаш.

— И ты! — заверил Вит верного дурачка. — Ты, Лобаш, мне ночью заднюю дверь открой. Хорошо?

— Дверь? Дверь? Открою! Открою дверь!

— Только смотри, помалкивай. И не проспи. Как все уснут, подожди немного — и щеколду откинь.

— Да! да! Лобаш щеколду откроет. Откроет!.. Вит? А, Вит? — Похоже, в голову к Лобашу пришла мысль (случай редкий!), и сейчас бедняга изо всех сил пытался выразить ее словами. — Вит, а когда ты... в разбойники! в разбойники когда! — ты нас душить не придешь? Не придешь?

— Ты что, Лобаш! Я, может, и не пойду в разбойники. Бродягой стану. Или где подальше пастушить наймусь. А пусть и в разбойники — зачем мне тебя душить?!

Дурачок искренне обрадовался:

— Меня не будешь?! А батьку? А Казимира? А Томаса? Не будешь душить? Не будешь?

— Не буду, Лобаш! Честное слово! — Вит не

удержался: рассмеялся.

Жаль, вышло грустно.

— Ты хороший, Вит. Я знаю. Ты хороший. Ты нас не тронешь. Лобаш дверь откроет. Откроет! А мытаря... мытаря ты правильно убил! Правильно!

Полоумный сын мельника Штефана всплеснул руками. Рассмеялся.

— Он плохой! Плохой! Был.

## XII

Дождавшись ночи, Вит на всякий случай двинулся в обход села, мимо старого кладбища. Кто его на погосте караулить станет?! Береженого Бог бережет. Опять же, через село идти — собак дразнить. Разбредутся спросонья... А мертвяков бояться — дурное дело.

Мертвяки, они смиренные: лежат себе.

Луна сгнула в трясине туч; звезды разбежались, укрылись за холмами. Тем не менее Вит ни разу не оступился и вообще: шел, как к себе домой. Парнишка улыбнулся глупым мыслям. Конечно, домой. Лишь бы «курий слепень» не схватил поперек. Однако Вит давно уяснил: дважды подряд его «хватает» редко, а трижды — никогда. Столбун был вот-вот, а накануне еще и дергунец случился, возле Крестовой хаты.

Значит, все в порядке.

Через забор он перемахнул играючи (впервой ли?!); и Хорт с Жучкой, хоть проснулись, сразу признали. Молодцы, лохматые... ну давай, почешу за ухом... Только с дверью загвоздка вышла. Заперто. Видать, уснул Лобаш — как ни клялся, дурачок, как ни божился, а уснул. Водилось за ним: ляжет на минутку, глядь — уже дрыхнет без задних ног! С колоколами не добудишься... Вит знал за дурачком такой грех. Лобашу хоть кол на голове теши: вылетает из нее все. Отвлекся — пиши пропало.

«Через окно лезть придется. Ладно. С мамкой проститься все одно надо...»

В нижние окна ломиться побоялся: тут жили сам мельник с сыном и подмастерьями. Вскинутся со сна, гвалт подымут... Поважут? Или нет? Посмеют приказа властей послушаться? Проверять норов мельника на собственной шкуре было неохота. Вит ловко вскарабкался по выступавшим из сруба торцам бревен почти под самую крышу. Нащупал ногой сосновый карниз, двинулся к окошку. Дом Штефана в селе считался зажиточным: о двух этажах. В окнах вместо слюды или бычьих пузырей — стекла! Всамделишные! Таких домов на все Запруды было-то три штуки: у войта, у Штефана и у Адама Шлоссерга — известного богатея, который держал аж семерых работников, ездил на ярмарку в Шельд и даже в сам

Хенинг: возил пеньку, мед, деготь и воск. Последний год Адам щеголял в куцем тапперте да панталонах с бантами, жену побоями заставил вместо честного чепца носить богемский гугель с пелериной, а весной привез себе из города длинный плащ с рукавами и на крючочках.

Обнову Адам гордо именовал «пальто».

Народ от смеха давился, когда, нацепив свое «пальто», он задирает нос, глядя на односельчан свысока.

Сейчас Вит тоже смотрел свысока, но в прямом смысле слова. Упасть он не боялся: забирался и повыше. Только вдруг окошко на щеколде? Хорошо бы открытым оставили. Тогда он напрямик в мамкину комнату попадет. Никому не узнать, что в доме гость побывал. А мамка не выдаст — это уж точно! Придерживаясь одной рукой за стену, другой он ухватился за резной наличник. Дернул на себя. Сперва легко, потом сильнее. Заперто! Или дерево от дождя разбухло, просело, вот и заклинило? Он попробовал еще раз, но тут внутри, за стеклом, мелькнула грузная тень.

Ничего предпринять мальчишка не успел: в следующий миг стукнула щеколда, ставни со скрипом распахнулись. Вит потерял опору, судорожно взмахнул руками...

И непременно полетел бы вниз, если бы сильные руки не схватили его за запястья, втянув в

дом.

— Чш-ш-ш! — приложил палец к губам дядька Штефан, опустив «гостя» на пол. — Не ори! Весь дом перебудишь...

Вит прикусил язык. Быстро окинул взглядом комнату: матери здесь не было. Видать, внизу уложили. Раздумали, хворую да избитую, по лестнице тащить.

Однако Штефан понял его взгляд превратно.

— Обожди стрекача задавать, — щека мельника криво дернулась. — Успеешь. Садись.

Растерявшись от такого поворота событий, Вит едва не сел прямо на пол. Нашарил табурет, примостился на самый краешек, готовый в любой миг сигануть в окно.

Второй этаж?! Плевать!

Мельник между тем не торопясь закрыл ставни. Чиркнул огнивом, затеплил свечу в железном держальце. Сел напротив Вита: кровать жалобно застонала.

— Как... как мамка? — глядя в пол, тихо спросил парнишка.

— Оклемается. Секли ее: от сердца. На спину глядеть тошно. Там ее мази в горшочках томились... Пользуем помаленьку.

— Дядя Штефан... Мне б мамку!.. одним глазиком...

— В бега податься решил? Прощаться



явился? — безошибочно угадал мельник.

Вит только молча кивнул.

— Увидишь мамку. Потолкуем по душам — и сходим к ней. Спит она сейчас. Едва-едва забылась. К чему будить? Ты мне лучше вот что скажи, убивец: далеко надумал?

Отпираться? зачем? Да и никакой угрозы в сиплом базе Штефана мальчишка не чувствовал. Даже наоборот. Сочувствие и понимание, совершенно несвойственные мельнику.

— Не знаю еще, дядя Штефан. Бродяжить стану. Или в батраки. Или...

Поколебался: говорить или нет? А, была не была!

— Или в разбойники!

Поначалу Вит даже не понял, что мельник хохочет. Штефан делал это беззвучно, стараясь не всполошить спящих. Кряжистое тело мучительно сотрясалось, кровать с отчаянным скрипом ходила ходуном.

— Разбойник! Ну, насмешил! — выдавил наконец мельник. — Дурень ты, как есть дурень!

Мальчишка виновато развел руками: таким, значит, уродился.

— Про разбой забудь, — мельник вновь стал серьезным. — Верная дорога на плаху. А бродяжить — зима на носу. Замерзнешь в поле, и вся недолга. Батрачить... По селам сорванцов вроде

тебя пруд пруди. Зачем чужого кормить, когда своих навалом? Знаешь, иди-ка ты лучше в город.

— В город?! — Вит не поверил своим ушам.

— В город, в город. В наш славный город Хенинг. Благо рядом. Был там у меня знакомец, пекарь Латран. Выручил я его однажды. Крепко выручил. К нему пойдешь. В подмастерья проситься. Скажешь: от мельника Штефана из Запруд. Латран не откажет. Понял?

Вит боялся оторвать глаза от половиц:

— Что вы, дядя Штефан! Меня ж стража ловит! Нельзя мне в город!..

— Вот ведь курья башка! — даже удивился мельник. — Да кто из них тебя запомнил? Еще в городе всякую полову искать... На улице встретят, нос к носу: мимо пройдут. В Запруды к нам, может, разок нагрянут, коли не поленятся. Дошло?

— Ага, дядя Штефан! — просиял парнишка. Обжег мельника благодарным взглядом. — Спасибочки! Я вам теперь по гроб жизни...

— Ты мне и так по гроб, — сурово оборвал его Штефан. — Сперва до города доберись, Латрана найди. Пекарня его в квартале Булочников. Там спросишь... Да гляди, у кого спрашивать! Шантрапа враз обманет, облапошит и без штанов оставит. К господам тоже не суйся. Ищи человека мастерового. Люди серьезные, не соврут и гонор тешить не станут. Покажут где.

— Я найду, дядя Штефан! Я...

— Кончай орать. Повтори, чего запомнил.

Вит честно повторил. Мельник слушал вполуха: и так ясно, правильно повторяет. Глядишь, Латран попомнит услугу, приютит мальчика. Парнишка работающий, старательный, в тягость не будет.

— Ну что ж, время. Пошли. Одежку соберем, харчей. С мамкой попрощаешься, — кряхтя и вдруг сильно постарев, мельник поднялся с кровати.

Об убитом мытаре Штефан ни разу не помянул.

Будто не было ничего.

### XIII

С мамкой вроде как простился. Посейчас в груди щемит. Будто взял кто, зажал сердце меж дверными створками, а потом налег от души. Посидел рядом, за руку подержал. Поглядел на лицо мамкино измученное: лоб складками, губа насквозь прокушена. Дядька Штефан сказал: били — молчала. Ни всхлипа. Одеяло подоткнул, чтоб теплее. Будить раздумал. Пусть отсыпается, сил набирается. Когда уходил, чуть не заплакал. Но сдержался. Эх, поймать бы гада, который мамку лупцевал, — и тоже кнутом, кнутом! Или как мытаря...

Вит сам испугался крамольных мыслей. Что — «как мытаря»?! Не убивал он никого! Однако закрадывались сомнения. Отчего-то ж мытарь помер! Может, действительно, когда вырывался, в горячке? Нож у кого-нибудь выхватил...

Плохо помнилось: что да как. Мало ли... Или сами стражники мытаря порешили, а на пастуха свалили?!

— ...за Жюстину будь спокоен, — напутствовал Штефан, тихо, чтоб не скрипнула, открывая заднюю калитку. — Выходим. Сколько раз она и мне, и батьке-покойнику спину правила. Отварами пользовала. И вообще... Видать, наш черед настал. Ну, с Богом. Скоро светать начнет, а тебе бы затемно от села убраться. Подальше.

Светать еще и не думало, но небо на востоке осыпалось пеплом. Прав Штефан: пора.

— Не поминайте лихом! Пошел я...

— Удачи!

Места вокруг поначалу тянулись знакомые. Вит безошибочно узнавал их даже в серой мгле. За пригорком — излучина Вешенки. Обрыв, с которого навернулся в воду Ганс-Непоседа. Впереди, левее — Лысый бугор. Оттуда Вит глядел, как у войтова дома кого-то кнутом стегают. Не знал тогда, что это мамку в кровь лупят.

А знал бы?..

Дядька Штефан, по жизни скупердяй, сегодня

расщедрился: кожух дал в дорогу, шапку, штаны с рубахой. Харчей на пару дней, ножик. И — подумать только! — даже денег не пожалел! Своих денег у Вита отродясь не было. Поэтому горсть медяков, выданных мельником, казалась целым богатством. Может, оно и к лучшему? — сладко екало сердце в груди. Одет, обут, при деньгах, в город иду. Подмастерьем стану. А так сидел бы всю жизнь в Запрудах, овец пас да затрешины огребал...

На душе было смутно. Тревога пополам с радостью. Летом, когда без малого год минет, велел мельник на Хенинговскую ярмарку наведаться. Сам он туда приедет: мукой торговать. Только лезть к нему да здороваться строго-настрого запретил. Ежели уляжется, даст он Виту знак особый: возвращайся, мол. А будет гроза висеть — молча в сторону отвернется. Значит: на следующий год, на том же месте. Уж за два-то года точно утихнет! Вырастет малец, никто его больше не узнает...

Когда прощались в доме, мельник Вита за плечи взял. Долго в глаза глядел, вроде соринку высматривал. После вздохнул тяжело, отвернулся.

И в сторону, глухо:

— Может, и правда, брат ты мне. Сводный. Не знаю. Другое знаю: скотина я грязная. В грехах, как в репьях. А все едино: не чужой ты мне человек. Мамка твоя — не чужая. Даст Бог, свидимся...

И Святым Кругом на прощанье осенил.

При этом воспоминании у Вита потеплело на сердце. Все-таки у хороших людей они с мамкой в доме живут! И дядька Штефан, и Лобаш, и... Может, они и вправду со Штефаном братья? Сводные? Мамка отмалчивалась, но она вообще о прошлом рассказывать не любит. Ничего, вернусь через год — расскажет. А пока...

Перед Витом лежал целый мир. Где непременно сыщется место и ему. Он ведь до сих пор даже в соседнем селе ни разу не бывал. Ага, вот и развилка. Слышал от знающих людей: левая дорога выводит на Хенингскую Окружную. Правая — на Хмыровцы, где проживает строптивая девица, невеста-отказчица бондарева сына.

С минуту постояв на распутье, парнишка, словно окончательно решившись, залихватски ударил шапкой о колено. Зашагал к городу, бодро насвистывая на ходу.

Светало. Медленно, с неохотой, но — светало.

Что ж, кажется, он успел уйти достаточно далеко от села.

...Часа через три хлынул ливень. Промозглый, осенний, колючий. Кожух держался недолго: вскоре промок насквозь. В башмаках хлюпало. Штаны обвисли, сырая холстина липла к ногам, мерзко чавкая: будто кожу сожрать норовила. Ноги скользили по раскисшей дороге. Вита начало

знобить, но он упрямо шел вперед, дрожа и хлюпая носом. Хенинг рядом! Он дойдет...

Не дошел. За миг до того, как на него *накатило*, стремительно подступила дурнота. В ушах кто-то охнул, тело сделалось жестким, деревянным. «Столбун?! — успел изумиться Вит. — Подряд?..»

Потом была канава.

## XIV

— Скиталась осень в слепом тумане —  
Дождь, и град, и пуста сума...  
Тропа вильнет, а судьба обманет —  
Ах, в пути б не сойти с ума!..

Можно было подумать: приближается бродячий шпильман, гораздый тешить песнями щедрых выпивох. Сойка засуегилась на ветке клена. Больше всего на свете она любила кружить над шпильманами, стрекоча в такт. Поэтому, когда из-за поворота дороги, тяжело шлепая сандалиями, выбрел монах — обиде сойки не было предела.

Подпрыгнула.

Захлопала крыльями.

А монах шел себе и шел, вплетая в сухой шелест дождя:

— Иди, бродяга, пока идется —  
Дождь, и град, и пуста сума...  
Луна упала на дно колодца —  
Ах, в пути б не сойти с ума!

Говоря по чести, святому отцу больше полагалось бы горланить что-нибудь духовное. О высоком. На благой латыни. А не эту бродяжью отходную по горестям бренного мира и тяжелой судьбе подонков общества. Судя по сандалиям, он вполне мог принадлежать к «босякам», например, к братству Св. Франциска, но сказать определеннее не получалось. Мешал плащ с капюшоном, скрывающий рясу. А темно-коричневое оплечье, равно как и крепкий посох из ясеня, могли принадлежать любому, отказавшемуся от мира.

Приблизясь к клену, монах вздрогнул: дура-сойка заорала невпопад над самой головой. Споткнулся. Нога поехала, обещая вывих колена, и святой отец с воплем «Credo!»<sup>13</sup> шлепнулся в грязь. Падая, он изо всех сил спасал дорожную суму, даже рискуя крепко расшибиться. Было видно: сума велика, но весит мало, как если бы путник хранил в ней запас накопленных

---

<sup>13</sup> Верую! (лат. )



добродетелей. Сойка, пыжась от счастья, притворялась трещоткой — взлетев, она молнией носилась над упавшим человеком.

— Кыш, проклятая!

Удостоверившись, что сума не пострадала, монах облегченно вздохнул. Завозился в луже, оперся на посох, восстанавливая равновесие; еще стоя на четвереньках, машинально скользнул взглядом по обочине.

Встал.

Хромая, подошел к канаве.

— Грехи черствеют вчерашним хлебом —

Дождь, и град, и пуста сума...

Хочу направо, бреду налево —

Ах, в пути б не сойти с ума!

Последний куплет он скорее прошептал, чем спел, разглядывая скорченного мальчишку. Сбросил капюшон, подставив дождю плохо выбритую тонзуру. Дождь словно испугался: раз-два щелкнул по благословенной лысине и унялся. Сойка и та заткнулась. А монах все разглядывал человеческий зародыш в мирской грязи: колени подтянуты к подбородку, тело покрыто заскорузлой коростой. Лица не видно. Мертвый? живой?

Тяжко вздыхая, монах полез в канаву.

Парнишка оказался сущим воробышком: когда святой отец попытался взять его на руки, то едва не упал опять, от неожиданности. Вроде бы только и весу, что мокрый кожух да котомка. Сунувшись щекой к лицу бедолаги, монах уловил слабое дыхание. Живой. Господь уберег от плохой гибели. Перекинув суму назад, стал выбираться из канавы с мальцом на руках. От движения плащ распахнулся, открыв грязную, некогда белую рясу, подпоясанную веревкой.

Вервие повязано особым образом: такой принят среди братьев, соблюдающих устав Цистерциума.

— Хочу направо, бреду налево —  
Ах, в пути б не сойти с ума!..

Вскоре цистерцианец скрылся из виду.

## XV

В харчевне Старины Пьеркина было людно. Сам Пьеркин с женой сбились с ног, разнося кружки, украшенные шапками пены, капусту, тушенную с тмином и майораном, а также жаренные в гречишном меду колбаски-пузанчики. «Звезда волхвов» славилась кухней по всей Хенингской Окружной. Хозяин был одолеваем

приступами набожности, что в итоге привело к столь странному для харчевни названию, и очень сердился, когда посетители — по ошибке или из пустого балагурства, — переименовывали заведение в «Звезду волков». Такой записной остряк вместо колбасок мог любоваться разве что костлявым кукишем, на какие Пьеркин был мастак, а о пиве следовало забыть сразу.

Разве что скисшее поднесут, в отместку.

Сегодня дождь согнал под крышу тьму народа. Отхлебывали помаленьку ячменного, с усердием работали крепкими челюстями. Чесали языки, давно забыв, с чего разговор начался и куда свернул минуту назад. Тоскливо ныл варган — подкова с приклепанным язычком, — выводя незатейливую мелодию. Оружье, грудой сваленное в углу, топорщилось клинками, остриями, тупыми обухами: точь-в-точь дохлая саранча-великан из Иоганнова Откровения. Временами кто-нибудь запускал в постылое железо хребтом обглоданного карася. Считалось хорошим тоном не на особой стойке сию пакость располагать, а вот так, кувырком. Надоело, спасу нет. А куда денешься? Оставишь дома, не возьмешь в присутственное место — доносчик живо сыщется. Ему, брехливому, десятина со штрафа. По закону. Иные и не видели, не слышали, а доносят. Курвы противные. Уж лучше эту дрянь, что в сословной грамотке

прописана, в нужник за собой таскать неукоснительно, чем после отдуваться...

— Старина! Дюжину поссета!<sup>14</sup>

— Нынче обмолот — курам на смех! Дед Тонда сказывал: бывало...

— ...а цыцьки! а гузно! Аж оторопь берет: красота-то какая!..

На монаха с дитем под мышкой внимания поначалу не обратили: чего зря башкой вертеть? Пиво, оно степенности требует. Да и сам цистерцианец мало был расположен к общению. Тихо опустившись на угловую лавку, кивнул Старине Пьеркину. Хозяин чутко затрепетал ноздрями, будто гончая, взявшая след. Сквозняком прошмыгнул через дым-гвалт; сдернул засаленный колпак. Небось пред епископом, заведи случай прелата в «Звезду волхвов», Пьеркин склонился бы менее почтительно. Помимо набожности и редкой сквалыжности спорящих между собой за Пьеркинову душу, владелец харчевни имел две привычки: добрую и очень добрую.

Добрую: никогда никому ничего не давать в долг.

А очень добрую: всегда с лихвой платить

---

<sup>14</sup> Горячий напиток из молока, смешанного с пивом или вином.

собственные долги.

Позапрошлой зимой, в «Марьином месяце»,<sup>15</sup> когда хозяйку намертво прихватил «цыплячий живчик», не кто иной, как вот этот отец-квестарь (дай ему Бог всякого-якова!) отпоил больную тайными снадобьями. Воняло, надо сказать, изрядно, хоть святых выноси, зато здоровье быстро пошло на поправку. Даже вечный кашель куда-то сгинул. Расцвела хозяйка майской розой: румянец, дородность, ночами печку топить ни к чему. С того дня, обычно скаредный по самые пятки, Пьеркин не брал с монаха ломаного гроша за харч-питье.

Истреби благодетель все запасы подчистую: ни-ни.

— Отец Августин! Кто это с вами? Ах, горе-то какое!..

— Не кричи, — попросил монах, щурясь.

Ветер оголодавшим волком завывал в печной трубе, мешая чаду покинуть харчевню. Отовсюду ползли сизые пряди, понуждая к кашлю. Так и угореть недолго...

— Лучше неси жбан дымника, на перце. И сухое что-нибудь: переодеть.

Пьеркин крякнул: его щедрость подверглась

---

<sup>15</sup> Январь считался католиками «Месяцем Марии» в честь Богородицы.

серьезному испытанию. Бельишко, оно, знаете ли... Но, вспомнив несомненную пользу от исцеления супруги, сдался. Проводив хозяина глазами, цистерцианец начал раздевать мальчишку. Донага. Вещи упали к двери мокрой грудой. На длинной лавке места хватало: едва Пьеркин вернулся с крепчайшим дымником, а его жена приволокла кучу сухого старья, монах застелил кудлатой овчиной доски. Уложил спасенного на живот. Макая ладони в жбан, принялся растирать щуплое тельце. Несколько взглядов искоса мазнули по святому отцу, но вопросов не последовало. Местные рождались с зарокотом: больше молчишь — дольше живешь. Решил отец-квестарь чужую душу спасти? — его забота.

За труды воздастся, аминь.

Кое-кто из собравшихся, как и Пьеркин, знал за собой должок пред этим монахом, большим докой по части целебных зелий. Посему не торопился выставляться гвоздем из скамьи: не пришлось бы помогать, деньгами или чем еще. Спросит святой отец — дадим, как не дать. Долг платежом красен. А набиваться впопыхах...

Ну его.

Цистерцианца мало беспокоили чужие опасения. От работы он взопрел, пар вздымался над плащом, который монах снять забыл или не захотел. Суму задвинул ногой под лавку, туда же

последовала котомка найденыша. Кожа ребенка под руками была сухой, твердой, напоминая панцирь жука-рогача. А еще: холодной. Очень холодной. Тем не менее перцовый дымник впитывался, будто ливень в истрескавшуюся от засухи землю. Разогнуть скрюченные руки вышло с трудом: монах боялся при нажиме сломать хрупкую кость, а иначе не получалось. Перевернув спасенного на спину, цистерцианец на миг прекратил работу. Долго, неприлично долго разглядывал низ живота мальчишки. Руки святого отца с удивительной для монашьей братии сноровкой скользнули по щуплому телу.

Тронули, нажали.

— Девка? — спросил из-за спины Пьеркин, ошалело моргая. И сам себе ответил:

— Не-а... парень...

Монах кивнул. Детородный уд вкупе с тестикулами были на месте. Но, сморщенные от холода, целиком втянулись под лобковую кость. Будто улитка в раковине: не сразу заметишь. Сейчас, когда тело стало отогреваться, тайные уды мало-помалу начали выбираться наружу. И задышал бедолага чаще, со всхлипами. Будет жить. Хотя не всякая жизнь — жизнь.

— Куда ж ты шел, заморыш? — тихо спросил цистерцианец, не надеясь на ответ.

Укутав ребенка в Пьеркинов дырявый кафтан,

достал из-за пазухи коробочку. Смазал беловатой, остро пахнувшей мазью виски. Прикрыл найденыша кожухом, высохшим в тепле харчевни. Все это время мурлыча под нос:

— Вкус подаянья горчит полынью —  
Дождь, и град, и пуста сума...  
Я кум морозу и шурин ливню —  
Ах, в пути б не сойти с ума!

Заезжий коробейник, явно впервые в здешних краях, расхохотался басом. Видать, по душе пришелся бравый квестарь. Подхватил от своего стола, желая пошутить:

— Монах стращал меня преисподней —  
Мор, и глад, и кругом тюрьма!  
Монаху — завтра, а мне — сегодня!  
Ах, в пути б не сойти с ума...

И заткнулся в полной тишине. Потому что цистерцианец скинул наконец плащ. Чад колебался сизым маревом, пахло солодом, нитье варгана стихло, а завсегдатаи «Звезды волхвов» катали на языках гулкое молчанье, после которого иногда начинают бить дураков смертным боем. Сдерживало другое. Даже те, кто знал отца-квестаря, кто встречался с ним, — а таких на



Хенингской Окружной было большинство! — никак не могли привыкнуть к его лицу. Обычное вроде лицо. Только вместо волос — плесень бесцветная. Стрижен «в скобку», на макушке тонзура выбрита, а все едино: не голова — репа подвальная.

Еще глаза.

Карие лезвия: полоснут наискось — жилы вскроют.

Фратер 16 Августин, отец-квестарь цистерцианской обители, вытащил суму из-под лавки. Равнодушен к багровому коробейнику, тщетно пытавшемуся стать невидимкой, окинул взглядом харчевню. Выполнив долг по отношению к замерзающему мальчишке, теперь он собирался заняться привычным делом.

Продажей индульгенций.

Аббат монастыря знал: выручка фратера Августина несравнима с выручкой других квестарей. Великая польза обители от талантов сего брата, подкрепленных опытом его многотрудных лет. Но, даже будучи посвященным в тайну мирской жизни фратера, аббат до сих пор жалел, что тот избрал стезю простого квестаря, отказавшись от поездки в Авиньон и защиты

теологического диссертата. Такой человек достоин большего.

Впрочем, аббату иногда казалось: они серьезно расходятся с фратером Августином в понимании «большого» и «меньшего».

## XVI

Вит ничего не запомнил. Совсем ничего.

Сперва было очень жарко. Пот градом, в затылке колотится злой птенец: наружу хочет. Вот-вот скорлупу — вдребезги. Хотелось смеяться, жаль, смех выходил кашлем. Да, жарко. Очень. А потом сразу: холодно. Ноги шли-шли, отказались. Катишься кубарем в мерзлую стынь: голова — ледышка, сердце — сосулька, тело — сугроб. Рассудок (душа?) забился в щель, носу не кажет. Спи, разбойник. Сплю. Несут куда-то. Зачем? мне и здесь... Горячее, пахнущее солнцем, проникает внутрь, варом растекается по жилочкам. В висках щекочет белый бесенок. Сон вяжет ресницы, заплетает глаза паутиной. Сон добрый, в нем жив мытарь, а мамка коржи печет...

И обвалом, наотмашь: нет больше сна.

Утро.

Легко соскочив с лавки, Вит огляделся. Тело переполняла удивительная свежесть: казалось, в пору наперегонки с зайцами. Вчерашние

жара-холод сгнули без следа. Сброшенный кожух валялся на полу, за столами храпела троица пьянчуг: не достало сил покинуть харчевню на своих двоих. Котомка оказалась на месте, ничего не пропало. Только одежонка запропастилась: на мальчишке был драный кафтан, явно с чужого плеча. Колеблясь: бросить все и удрать как есть или остаться? — Вит затоптался на месте.

— Двужильный ты, сын мой...

У лестницы, ведущей на второй этаж, стоял монах. Щурясь, разглядывал мальчишку: пристально, задумчиво. Словно неведому зверушку.

— Голова кружится?

— Не-а...

Отца-квестаря, временами проходившего через село, Вит вспомнил почти сразу. Ага, еще святой отец у дядьки Штефана хлебцем разживался. Предлагал купить какую-то штуку. Дуль... дульгецию. Точно, дульгецию. От которой дядька Штефан ночью прямиком на адову сковородку сиганет. Вит еще хотел обождать, дослушать: на кой мельнику приплачивать, чтобы во сне зад поджарить? — да мамка заругалась, прогнала.

— И ноги ходят? — допытывался монах.

Вместо ответа Вит подпрыгнул. Сейчас небось начнет Виту дульгецию вкручивать. Думает, на дурачка попал. Так пусть видит: ноги ходят, прыгают и даже бегают. Другим сковородки

предлагай, святой отец. Уловив вызов в глазах мальчишки, фратер Августин улыбнулся каким-то своим мыслям. Улыбка сложилась странная: вовсе не веселая. Так, дернулись уголки рта. Ямочки на щеках, сизых от щетины. Любой другой на месте этого бродяжки...

Квестарь присел на ступеньку. Покачал головой.

Нет, лицо спасенного ничего не оживило в памяти монаха: мало ли их, огольцов, встречалось в странствиях?

— Куда шел-то?

— В Хенинг, святой отец.

— Бродяжишь?

— Не-а... К пекарю Латрану, в подмастерья.

У меня к нему словцо заветное...

— Проводить? Я в обитель возвращаюсь. Значит, через Хенинг и пойду. Покажу, где квартал Булочников.

Прежде чем согласиться, Вит подумал: судьба милостива. Кому придет в голову, что разбойников святые отцы провожают? Никому. Вроде как колпак-отворот на дороге нашел: покрой темечко, мимо любого шагай бестрепетно...

— Значит, все в порядке? — напоследок спросил фратер Августин, нюхая собственные ладони. До сих пор пахнут дымником.

И сам себе тихо ответил:

— Выходит, что так.

## XVII

Ближе к полудню Вит понял, что чувствует пичуга, добровольно идя в пасть змею.

Восторг пополам со сладким ужасом.

Внезапное летнее солнце упало с неба, когда Хенинг встал навстречу. Драконом на холмах, сторожем немислимых сокровищ, распахнувшим пасть, властно приказывающим: иди! съем! Василиском, чей взгляд превращает тело в камень, а душу — в песок, одержимый лишь одним желанием, превыше всего: иду! навстречу! Давящий сумрак стен, зубцы башен, позлащенные кольца на куполах соборов и церквей, шпиль ратуши, переключка лучников с «воробышковых» — малых сторожевых башенок; вереница телег, повозок, пеших и всадников, бродяг и богомольцев, идущих в гости и возвращающихся домой, — людской поток вливался в чрево Хенинга, и Вит, захваченный общим порывом, подумал, что жизнь могла пройти даром.

Знал бы заранее, еще в прошлом году прибил бы мытаря.

Лишь бы сюда попасть.

В воротах никто из караула, увлеченного сбором пошлины, не задержал отца-квестаря с

мальчишкой. «К Латрану! пекарю!..» — с замиранием сердца бросил было Вит, когда чей-то взгляд остановился на нем. Ответа не дождался. Будь сын Жеськи-курвы постарше да поопытней, сразу сообразил бы: в случайном взгляде плескалось иное. Братъ с нотариуса-лиможца, решившего открыть практику в Хенинге, два флорина въездного? — или не наглеть, обойдясъ флорином и шестью патарами? Колеблясь, страж загадал: если вон тот сопляк дойдет до коновязи за пять шагов, значит, платить нотариусу со скидкой! А если шагов выйдет семь или вовсе девять... Жаль, сопляк вдруг споткнулся. Брякнул какую-то дурость. Уцепился за подол монашьяго плаща («Здоровьица, отец Августин! Удачно ль расторговались?..»); к коновязи не пошел, а свернул за квестарем к площади Валентинова Дня.

От расстройства страж требовал с нотариуса два флорина с четвертью.

Получив без заминки.

А Вит уже был проглочен драконом. Узкие, загаженные лошадьми переулочки казались ему райским садом. Трехэтажные дома с балконами — дворцами. Кухарка, выплеснувшая из окна ночной горшок, — королевой. Щеголь в распашном камзоле, проклинаящий кухарку, — ангелом Господним. Подросток, чьим заработком была переноска дам через сточные канавы, — идеалом. В

глазах рябило: бобровые шапки писцов, бляхи ремесленников с гербом цеха, ярко-красное платье лекарей-хирургов, накидки судейских, капоры и «позорные» шнуры на рукавах публичных женщин, рогатые шляпы авраамитов, белые фартуки поваров...

Чуть-чуть придя в себя, Вит вдруг догадался: что его беспокоило все время, было соринкой в глазу.

— Святой отец! Святой отец, ихнее оружие! У нас в селе... у дядьки Штефана, у Лобаша...

Фратер Августин понимающе кивнул:

— Крестьяне, малыш, — низшее сословие. Вам в грамотке древковое оружие прописывают. Самое большое и с виду страшное; согласно Аугсбургскому «Новому уставу о сословиях». Статья I (X) «О крестьянах», абзац второй: «Затем мы хотим, дабы...» А это Хенинг, сын мой. Народ разный, и прописи разные. Для удобства различения. Тот же «Новый устав»: статьи II (XI) «О горожанах и городских обывателях», III (XII) «О купцах и промышленниках», IV (XIII) «О горожанах, состоящих членами городского совета, живущих своими доходами»...

Цистерцианец оборвал рассказ. Увлёкся ты, скромный квестарь. С тем же успехом можно читать мальчишке «Directorium vitae humanae» на латыни, с комментариями Веччелио Ломбардца.

— Смотри, сын мой: у ремесленников в грамотках — мечи. Легко определить: видишь фальшон? Ну, кривой такой палаш, с большим эфесом? Значит, кузнец пошел. Длинный и обоюдоострый павад — шляпник или перчаточник. Короткий тук с перекладиной — ювелир. Может быть, меняла. Тяжелый бракемар — носильщик или кучер. Поймают с нечищеным или ржавым, плетей от души всыпят. Раз низок и слаб, должен соответствовать. Впрочем, многие и на плети согласны, лишь бы свое небрежение доказать. Будто от этого их рыцарство наружу явится...

Вит внимал с открытым ртом. Это ж сколько всякой гадости напридумано, чтобы простого человека издали распознать?

— ...у судейских, цеховых синдиков и членов магистрата — кинжалы. Так же у лекарей и цирюльников. Для облегчения. Слугам прописаны палицы. Булава «массюэль», граненая — слуга дворянина. Булава «квадрель», с крыльями — привратник цехового старшины. Шипастый «кастет» — это, значит...

— А господа?! Взаправдашние?!

Вит никогда не видел *настоящих* господ. Сейчас святой отец ответит, и решится вечный спор сельской ребятни: бывает или нет? Врали шпильманы, изредка проходя через Запруды, или верно сказывали?! Честен был горстяник, о жизни в



Хенинге мельнику говоря, или байки складывал?!

— А взаправдашные господа, сын мой, то есть дворяне, рыцари и титулованные особы, безоружны есмь. Согласно «Зерцалу Обряда», как высшее сословие. Ибо сильны родом своим, честью дворянской, и всего, что Господь дал Адаму, им достаточно для защиты и нападения, как скороходу достаточно ног его без позорной нужды в костылях. Это про вас, худородных, сказано Фридрихом, архиепископом Зальцбургским: «...если же узнают, что кто-то в подражанье знати не носит копьё, меч или другое оружие, то он лишается милости и должен быть задержан, как человек опасный...»

В полном обалдении Вит принялся. Мудреные словечки квестаря, цеплявшиеся друг за дружку без видимого смысла, разом вылетели из головы. Какое «Зерцало Обряда»?! какой архиепископ?! — если в воздухе отчетливо запахло царством небесным.

Сдобой.

Пышками, калачами, рогаликами.

— Смышлен твой нос, сын мой. Вернул нас, неразумных, на стезю истины.

Фратер Августин усмехнулся собственному красноречию. Гордыня. Первый смертный грех. Перед сельским разиней знатоком выставляться?

Прости, Господи, меня, грешного...

— Квартал Булочников за углом. Ну, пекаря

сам същешь? Или помочь?

Вместо ответа Вит припал поцелуем к ладони монаха.

— Из обители снова в мир пойду, о тебе справлюсь. — Узкие пальцы начертали круг благословенья, осенив мальчишечьи вихры. — Латраном, говоришь, пекаря зовут?

Оправив плащ, цистерцианец перекинул суму поглубже за спину.

— Святой отец! — наконец решился Вит задать вопрос, который давно жег ему язык. — А что у вас в суме? Эти... дульгении?! Со сковородками?!

— Индульгенции, — без малейших признаков насмешки поправил фратер Августин. — Со сковородками. Жизнь, сын мой, удивительная штука... Иногда только на сковороде и поймешь. А еще у меня в суме — книги. Любимые книги. Знаешь, что это такое: книги?

— Не-а, — честно ответил Вит.

## XVIII

Дураку ясно: булочки должны быть толстыми. Складки на затылках, колыханье животов над поясами. Румяные щеки — бурдюками. Еще бы! — на чистых блинах-то, на крупитчатых... Вит разочарованно бродил от

пекарни к пекарне, от дома к дому, от лавки к лавке. Всякого худого человека обходил стороной: этот точно не знает, где живет пекарь Латран. Который самый жирный. А двое толстух взаправду не знали: переглянулись, начали хихикать. В Вита пальцем тыкать. И чего такого смешного углядели?

Хрюшки...

Мало-помалу восторг угасал. Ну, город. Неделя-другая, и это Вит уже будет пальцами тыкать. Насмешки строить. Вечный голод давал о себе знать, но просить было стыдно, а развязывать котомку, чтобы подесть остаточки, — вдвое стыднее. Он не нищеврод. Он ищет пекаря Латрана. Сейчас найдет. Вот смелости наберется, спросит раз-другой и найдет. Станет подмастерьем. Один калач печется, второй в рот просится, один в печь, другой — в рот...

— Ты! Ты! ты! ты! ты...

Первое, что бросилось в глаза отскочившему Виту: богемский гугель на голове дурной девки. Точь-в-точь как у Шлоссерговой супружницы: с пелериной, с насечкой по краю воротника. Гугель сидел на дурехе косо, почти закрывая левый глаз. Платье из приличных (Вит лучшего отродясь не видывал!), но часть крючочков расстегнулась, а подол топорщится, будто на морозе задубел. Девке, похоже, без разницы: вон, зенки выпучила.

Плюется:

— Ты! Ты, ты... Я тебя видела!

Видела она. В пруду с лягушками. Мальчишка отступил на шагок. Шиш их знает, городских. Может, тут и с ума-то, не как везде, спрыгивают. По-особому. Безумных Вит опасался; даже когда друзья бегали на юрода Хобку глядеть — не ходил. Чего там глядеть?

— Ты! — Девка вдруг присела раскорякой. Точно, булочница: жирная. Ноги короткие.

Спросить про Латрана? Ага, она тебе укажет путь-дорожку...

— Где твоя шапка?

— К-какая? к-какая ш-шапка?!

Дурная девка прищурилась. Затараторила сорокой:

— Шапка остроконечная, верхушка загнута назад, окружена золотым ободком о четырех зубцах...

Прикусила язык: больно, аж слезы навернулись. Взгляд просветлел, сверкнул пониманием.

— Ой, что это я! Ты ж мытаря убил! Тебе ж прятаться надо!

Вит сразу все понял. Бежать надо, да бежать некуда. Ищи, парень, пекаря Латрана, пекарь тебя живо в тюрьму сволочет! Вона, весь Хенинг знает, кто мытарев убивец! Первая же безумица, и та... Быстро повернувшись, он наладился было делать

ноги, подальше от горластого пугала — и ткнулся лицом в чей-то живот.

Весьма неприветливый живот, надо заметить.

— Ты, селюк, на месте стой, — густо посоветовали сверху. — На месте стой и слушай, чего тебе Глазунья говорит. А то пятки выдерну, в ухо засуну.

Двое здоровенных парняг скучали перед Витом, загораживая дорогу. Таких на мельницу, все мешки за час перетаскают. Который советчик, тот уже молчал. А который и раньше молчал, тот из пальцев заковыристую мысль скрутил. Повертел мыслью, показал: чего он тоже селюку повыдернет, если пяток на его долю не хватит.

Немой, значит.

Вит сгоряча решил: вот они — господа. Взаправдашние. О ком шпильманы поют. Поскольку оружия позорного при них не наблюдалось. А там приметил: под плащами таят. Дрын дубовый да звезда на цепи. Удобно прятать: вроде как нету, вроде как благородные мы по самое не могу.

Надоело немому ждать. Протянул лапищу, развернул селюка.

К себе задом, к девке передом.

Сопротивляться Вит раздумал. Во-первых, уж больно вид у парней серьезный был. Да и мытарева памятка зудела: убивец! убивец! — а как убивец, с